Себастьян ФОЛКС

ТАМ, ГДЕ БИЛОСЬ МОЕ СЕРДЦЕ

Себастьян Фолкс

Там, где билось мое сердце

Издательство «Синдбад»

2015

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Фолкс С.

Там, где билось мое сердце / С. Фолкс — Издательство «Синдбад», 2015

ISBN 978-5-906837-33-2

1980-й год. Лондон. Психиатр Роберт Хендрикс получает письмо-приглашение от незнакомца — француза по имени Александр Перейра, живущего на крохотном средиземноморском острове. Перейра, которому за восемьдесят, пишет, что служил вместе с погибшим на войне отцом Роберта и хранит его письма, фотографии и другие документы. У Роберта за плечами собственное военное прошлое. Ветеран еще одной мировой войны — Второй — он участвовал в высадке десанта союзнических войск в Италии, где был ранен и встретил свою первую и единственную любовь. Перейра, как и Хендрикс, — психиатр, много лет посвятивший изучению проблем памяти. Эта же тема занимает и Роберта, и не только с профессиональной точки зрения. Погружаясь в беседах с Перейрой в воспоминания о тяжелом детстве, бурных годах студенчества, первых шагах в медицине, заново переживая кошмар окопных будней, потерю лучших друзей и разлуку с любимой, он впервые заставляет себя взглянуть в лицо своему прошлому, отголоски которого не дают ему покоя в настоящем.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-906837-33-2

© Фолкс С., 2015
© Издательство «Синдбад», 2015

Содержание

Глава первая 7
Глава вторая 17
Глава третья 30
Глава четвертая 45
Конец ознакомительного фрагмента. 53

Себастьян Фолкс
Там, где билось мое сердце

Я снова прохожу по тем местам,
Вдоль мрачных улиц, и ищу прилежно
Тот дом… Какая ныне темень там,
Где билось мое сердце так мятежно![1]
Теннисон. Памяти А.Г.Х.

Sebastian Faulks
WHERE MY HEART USED TO BEAT

Copyright © Sebastian Faulks, 2015
Published in the Russian language by arrangement with
Aitken Alexander Associates Ltd. **and** *The Van Lear Agency*

Перевод с английского Марии Макаровой

Иллюстрации на обложке:
© Colin Thomas,
© Maremagnum / Gettyimages.ru

[1] Пер. Е. Чевкиной.

Глава первая

Веронике
La belezza si risveglia Vanima di agire…[2]

В залах аэропортов, где пассажиров бизнес-класса балуют бесплатными орешками, я как дома. Но на этот раз не удалось сполна насладиться аурой избранничества, свойственной подобным местам. Ибо шалили нервы и вообще было мерзко. Очереди в аэропорту Кеннеди до самых дверей терминала; громоздкие тюки мигрантов, толкущихся у стоек регистрации, – не Нью-Йорк, а какой-то Лагос.

Хотелось поскорее убраться из мегаполиса, где я кое-что себе позволил. Йонас Хоффман по старой дружбе пустил меня в свои апартаменты в Верхнем Вестсайде, а я пригласил туда девушку по вызову. Номер нашел в справочнике, в телефонной будке у площади Коламбус-сёркл. В тот момент эта блажь казалась необыкновенно важной, поводом потом над собой же посмеяться, как мы смеемся над выбором других. Захотелось увидеть себя без прикрас, себя и свои помыслы… такая вдруг потребность.

Здесь логично бы добавить, что я одуревал от похоти. Иначе зачем? Но когда позвонили из «офиса», сообщить, что дама уже едет, я вдруг понял, что не рад, а боюсь. И вот звонок в дверь. Глотнув ледяного джина, я пошел открывать. Было одиннадцать часов.

Темно-оливковое пальтишко, незамысловатая сумка с клапаном. Я принял ее за уборщицу Хоффмана. И лишь высокие каблуки и яркая помада подсказали, что передо мной труженица иной специализации. Предложил ей чего-нибудь выпить.

– Спасибо, мистер. Просто воды, если можно.

Гадая, какая она, я рассчитывал на смазливую разбитную шлендру или уличную вамп с платиновыми волосами, вызывающе накрашенную. Ни то, ни другое. Национальность тоже определить сложно, скорее всего, пуэрториканка. Не страшила, но и не хорошенькая. Сошла бы за сестру кого-нибудь из моих коллег, лет тридцати восьми. Или за директрису прачечной самообслуживания, или за диспетчершу в местном турагентстве.

Воды так воды, принес ей стакан и уселся сзади, в одно из кресел в огромной гостиной, обставленной книжными шкафами. Сняла пальтишко, под ним оказалось убогое коктейльное платье. Почему-то захотелось узнать, кто у нее родители, есть ли брат… дети. Положил ладонь на коленку, кожу царапнул дешевый нейлон. Сразу поцеловать? Но мы ведь не знакомы. И все-таки рискнул, она ответила, с усталой покорностью.

Поцелуй вытащил из кладовой памяти шестнадцатилетнюю Полу Вуд, с которой я сто лет назад целовался в одном загородном особняке, еще до того, как познал маету похоти.

А эта… будто целуешь манекен, черт возьми. Имитация поцелуя, воспоминание о поцелуе. Что угодно, только не поцелуй. Я пошел на кухню и налил еще джина, бросил несколько кубиков льда и два кружка лимона.

– Нам туда, – я махнул рукой на коридор, ведущий к гостевой – моей – комнате, самой дальней. Вообще-то там жила мать Хоффмана, наезжавшая иногда из Чикаго, и когда мы вошли, мне стало немного неловко. Я скинул ботинки и улегся на кровать.

– Тебе бы лучше раздеться.

– А вам бы лучше сначала заплатить.

Протянул ей несколько купюр. Будто через силу – разделась. Подошла и встала рядом. Взяла мою руку и провела ею по животу и по грудям. Живот был слегка округлым, бедра чересчур пухлые; пупок неровный и комковатый, акушерка когда-то схалтурила. Кожа неж-

[2] Красота побуждает душу к действию (Данте).

ная и гладкая, но взгляд отстраненно-сосредоточенный. Ни тени симпатии или любопытства, скорее, старание, как у подростка-новичка, желающего угодить шефу. Навалилась дикая усталость, хотелось закрыть глаза. Но надо было соответствовать – раз уж услугу предоставили, как-то надо соответствовать.

Погладив груди, я пробежался пальцами по плоской грудине, потом по ключицам. Когда гладишь кого-то, хочется привнести толику пылкости, чтобы не походило на лечебную процедуру. А как это ей?

Она воспринимала мои прикосновения не как ласку и даже не как осмотр врача. Кожа трется о кожу, ну и пускай… Я встал, разделся, аккуратно сложил вещи на стул. С Аннализой бывало иначе: быстрее все с себя сорвать, черт с ними с пуговицами. И постоянная тревога, что никогда не смогу ею насытиться. И заранее страх, что она уйдет, даже когда нам все только предстояло. Знал уже: едва за ней захлопнется дверь, снова буду обмирать и терзаться. Навязчивая боязнь разлуки, хотя понятно, что это глупо, что нет причин так паниковать. Однако же я не мог уняться, не буйствовать, не терять пресловутого благоразумия…В гостевой комнате Хоффмана огромное зеркало. В нем отражался немолодой мужчина, совокупляющийся с незнакомкой: физиологический фарс, которого я так жаждал. Белая кожа елозит по смуглой, моя гнусная физиономия налита кровью, голова девушки опущена, а зад поднят. Непристойная, вульгарная картина, я наблюдал такое с участием других, а теперь вот сам тискаю попку, заходясь от наслаждения.

Уговорил еще побыть, выпить чаю или пива (хоть видимость приличий). Она сказала, что живет в Квинсе, работает на полставки в обувном магазине. Я тут же мысленно отметил, что доходы нью-йоркской проститутки надежнее. Да, без карьерного роста и профсоюзных льгот, зато сутенеры обеспечивают полную занятость. Больше она ничего рассказывать не стала, полагаю, из боязни подпортить образ обольстительницы. Не хотела уходить от меня обычной продавщицей, которой сегодня предстоит еще расставлять коробки с кедами.

Беседа получилась краткой, и гостья была разложена на коврике перед камином для повторного акта. Не скажу, что меня очень уж потянуло, но пусть еще заработает. Когда-то в том самом загородном особняке я тоже исключительно из благих побуждений пригласил на танец мать Полы Вуд. То ли из вежливости, то ли по дурости, я тогда не разбирался в женских желаниях. По завершении благотворительного акта было выдано еще двадцать долларов, она их сложила и спрятала в сумочку, с благодарным кивком. Спросила:

– Откуда этот шрам на плече?

– Пуля. Пистолетная.

– Но как это случи…

– Тебе же не интересно.

Я протянул ей пальтишко. Когда она прощалась, возникла заминка. Нужно ли было ее целовать, и если да, то как? Девушка легонько погладила пальцами мою щеку, потом ее губы на секунду прижались к тому месту, которого коснулись пальцы. Пожалуй, этот момент был в нашем свидании самым эротичным.

Снова оставшись один, я рухнул в большое кресло и глянул на Центральный парк. Несколько женщин вышли на пробежку, без компаньонов; наверное, в кармане тренировочных штанов у каждой спрятан газовый баллончик. Ни одной мамаши с коляской, это в середине-то дня. Мужчин было больше, они трусили по дорожкам, нацепив наушники плееров. То ли за кем-то гнались, то ли от кого-то спасались. По виду – точно не фанаты здорового образа жизни. А год-то шел восьмидесятый, Нью-Йорк никому не нравился, хотя плакаты с мэром Эдвардом Кохом пестрели на бамперах многих авто. Да и что там могло нравиться, если швейцар ближайшего бара отговаривал возвращаться пешком: даже всего два квартала не стоит. Лучше он вызовет такси, и шофер притормозит впритык к тротуару, с распахнутой дверцей, чтобы принять клиента и тут же отъехать.

Приняв душ в ванной мамаши Хоффмана, я снова плеснул себе джину и вернулся в гостиную обдумывать происшедшее. Говорят, когда с кем-то спишь, в постели присутствуют и все ее бывшие, но лично я никогда этого не ощущал. А эта – профессионалка, ясно, что у нее обширная клиентура. Что я неизменно ощущал с прежними своими партнершами, так это их глубинный дискомфорт. То волосок на подушке, то матрас неудобный. Или ей совестно, тут целая гамма: от смущения до жгучего стыда…

В юности, наслушавшись и начитавшись баек про роковую страсть и романтическую «любовь», я поверил, что это самая высокая степень единения – возможно, состояние наивысшей полноты бытия, доступное человеку. Как же я был разочарован. И как редко мне выпадало почувствовать ответный упоительный восторг и столь же безграничное доверие. Хорошо помню, когда это, наконец, произошло. Впервые.

Мне было двадцать восемь, примерно месяц я жил на захолустной итальянской улочке; в том городке и нагрянуло счастье. Несколько сказочных недель. Невероятно давно это было, но до сих пор тяжело называть ее имя, не могу произносить эти три слога без боли, поэтому ограничусь одной буквой. Буковкой Л. Время было военное (вот откуда мой шрам от пули), и Л. была моей возлюбленной. Входя в ее комнату, я всякий раз удивлялся радужному мерцанию на всем: светилось ветхое стеганое одеяло на кровати, и стены, и комод. Даже хлипкие жердочки ставен весело поблескивали. Я озирался, отыскивая взглядом включенную лампу, ее не было. Потом смотрел на девушку у зеркала, наводившую вечерний марафет и подправлявшую уголки губ белым платочком. И вот она поворачивала голову и, увидев меня, улыбалась. Я отступал на шаг назад, оценивая результат. Весь вечер она излучала свет, и он вспыхивал везде, где бы мы ни оказывались, так и бродили в осиянном пространстве.

Спустя несколько часов после визита проститутки я обнаружил, что мое сумасбродство не осталось незамеченным. Привратник крякнул, когда я выходил на улицу, бармен в ближайшем заведении вскинул бровь, наливая мне, даже попрошайка, торчавший у входа, хитро ухмыльнулся. Наутро я уже подумывал о том, чтобы убраться из Нью-Йорка.

Делать мне там было нечего. Приехал я на медицинский конгресс и уже выслушал весь набор ораторов в кампусе Колумбийского университета, это в Верхнем Манхеттене. Спонсоры от фармацевтических компаний выделили конгрессу столько денег, что молодых делегатов (будущих светил науки) в последний момент поселили в отеле «Плаза», хотя изначально им предназначались обычные гостиницы (ночлег плюс завтрак), таких уйма вокруг холма Марри-хилл. Заодно и я оказался на немыслимой вышине, в номере размером с конюшню. Мне это стойбище было ни к чему – не гостиница, а памятник архитектуры. Я долго воевал с регулятором кондиционера и все-таки одержал над ним победу. Батареи в гостиной (на черта она мне сдалась!) ночью тяжко вздыхали и что-то бормотали, неугомонные, будто мозг уснувшего шизика.

Когда конгресс закончился, я, решив побыть еще в Нью-Йорке, перебрался в квартиру Джонаса Хоффмана. С ним мы познакомились после войны, в одной из лондонских медицинских школ, куда он прибыл на волшебном американском ковре-самолете, коим послужила не то стипендия, предоставляемая ветеранам «Солдатским биллем о правах», не то диплом Университета Родса. Дружба наша выжила несмотря на его более чем успешную практику: в приемной на Парк-авеню Джо побуждал невротичных дам вспомянуть о былом, тогда как моя лондонская квартира располагалась в двух шагах от кладбища Кенсал-Грин, как говорится, в шаговой доступности. Гонорары, полученные в результате многочасовых душевных излияний, подвигли Хоффмана на приобретение апартаментов. Тех самых, где я из гостевой комнаты наблюдал (валяясь в постели с газетой), как меняют цвет осенние деревья. Каждый день на них что-то новенькое…

Объявили посадку на лондонский рейс. Подхватив свой дипломат, я удалился из вакуумной тишины зала для особо важных персон, честно говоря, удалился скрепя сердце. Очень не хотелось погружаться в толчею снаружи. Уж и не помню, сколько раз (сотни!) я заходил внутрь самолета, чувствуя под ладонью холодок петель и заклепок на дверце. Далее привычный кивок и дежурная улыбка команде экипажа, по стойке смирно встречающей пассажиров.

Я сел у окна, проглотил таблетку снотворного, раскрыл книгу. Самолет медленно и мягко покатил на округлых шинах и вскоре с хищным остервенением уже несся по взлетной полосе, вжимая меня в спинку кресла.

Пассажиры чуть погодя достали журналы с кроссвордами или уставились на подвешенный экран, где запустили фильм. С моего кресла экран был виден лишь сбоку, отчего персонажи поменяли окрас, уподобившись негативам цветных фото, – очень похоже на разводы бензина в воде. Дядька впереди увлекся, даже наклонился вперед, задумчиво поедая орешки: весь пакет смолотил.

После двух порций джина я почувствовал, что таблетка начинает действовать, смиряя кровь. Опустил шторку на иллюминаторе, закутался в тонкий плед и попросил стюардессу не будить меня на перекус.

Ночь перелета. В шесть тридцать самолет выхаркнул меня в Хитроу, и вот такси уже едет по тускло-серым улочкам Чизвика, а мне кажется, что этот день никогда не кончится. Когда я все-таки вошел в дом, захотелось сразу лечь, но я по опыту знал, что после сна невпопад будет только хуже. На столике в холле моя уборщица миссис Гомес соорудила стопку из писем за три недели. Я быстро их перебрал, ища конверт с почерком Аннализы, но все адреса были напечатаны на машинке или распечатаны в типографии. Кроме одного. Внутри я обнаружил одинарный листок с коротким посланием:

> *Уважаемый мистер Хендрикс! Мы только что въехали в квартиру на верхнем этаже и в субботу вечером отмечаем новоселье. Если будет настроение, пожалуйста, приходите. Начинаем в восемь, форма одежды произвольная.*
> *Шиз и Мисти*

Наш дом больше прочих в округе, и я занимаю первый и цокольный этажи. На втором этаже двадцать с лишним лет живет овдовевшая полька, а на верхнем жильцы постоянно меняются. Что-то в именах новых соседей подсказывало, что они из Австралии. Видимо, вечеринка намечается шумная, и приглашением новоселы хотят подстраховаться, чтоб к ним никаких претензий. Наверняка и миссис Качмарек зазывают. Бедная старушка.

В кабинете у меня теперь новый автоответчик. Я долго выбирал подходящий; этот мне понравился потому, что у него нормального размера кассеты и три удобные клавиши. Судя по тому, как долго перематывалась пленка, кассеты были заполнены почти целиком. Есть у аппарата одна особенность (наверное, я что-то не так настроил): перед каждым новым сообщением он настырно повторяет записанное мной извещение. «Это автоответчик Роберта Хендрикса, если вы хотите оставить сообщение…», ну и так далее.

Голос мой раздражал меня всегда. Мало того, что резкий, но и звучит фальшиво, ибо есть в нем неистребимое самолюбование. Пока крутилась пленка, я взял блокнот и ручку, с отвращением дожидаясь знакомых ненатуральных интонаций: с моим нарциссизмом мне не все равно, как воспринимают их остальные.

Но вместо своего голоса я услышал женский. «Мы знаем, что ты делал, ты, грязный ублюдок. Знаем, что ты сделал с этой бедной женщиной. Потому ты и удрал из Нью-Йорка».

Я понятия не имел, кто это. Акцент американский, и, похоже, тетеньке хорошо за пятьдесят. Я вышел в коридор переждать этот шквал; сразу стирать не стал, чтобы случайно не стереть другие сообщения. Я не расслышал характерного поскрипывания перед новым сооб-

щением, но визгливый голос в какой-то момент сменился тусклым мужским. Я вернулся в кабинет. Голос был моим: сказал про автоответчик, заверил, что я перезвоню при первой возможности. Далее шли сообщения.

«Привет, Роберт, это Джонас. Прости, что не смог пересечься с тобой в Нью-Йорке. Застрял в Денвере, там оказалась жуткая морока. А как хорошо было бы тяпнуть нам с тобой в ресторанчике “Лоренцо”. Звони, не забывай».

Раздался скрипучий шелест, потом женский голос: «Доктор Хендрикс, это миссис Хоуп, мать Гэри. Я знаю, что вы велели звонить секретарше, но ему опять стало хуже…». Я сел за стол и раскрыл блокнот. Прозвучало еще четырнадцать сообщений, вполне рутинных. Записав то, что было важно, я стер записи и снова нажал на пуск, чтобы убедиться, что не удалил свое приветствие. Аппарат, как обычно, слегка пожужжал и занудил: «Это автоответчик Роберта Хендрикса…»

Я так и не понял, каким образом истеричная угроза незнакомой тетки проскочила перед моим приветствием.

Среди ночи я проснулся – сработал синдром резкой смены часовых поясов. Мне такие сбои даже приятны; как будто внутри осталось немного динамичной энергетики Манхеттена. Пошел на кухню, заварил чаю. Что мне в американцах нравится, так это их умение себя уважать. В Нью-Йорке не обязательно быть старожилом с корнями, там не культивируют самоедство. Есть диплом, есть медная табличка на двери, вот и радуйся, парень. Ты уже точно обогнал толпы только что прибывших из аэропорта Кеннеди искателей счастья. И тут американцы правы. Твоя жизнь не представляет собой ничего особенного, но разве она тебе от этого меньше дорога? Вот именно.

Дорога как никому другому. Прихватив кружку с чаем, я отправился в кабинет и принялся вскрывать скопившиеся письма, адресованные Роберту Хендриксу. Доктору медицины. Члену Королевского общества психиатров. Заслуженному члену Королевского общества психиатров. В этих званиях, можно сказать, отражена вся моя карьера. Кстати, они реальные, а не присвоенные мне авторами писем на всякий случай или из желания подольститься. Добывались они годами труда – далеко не сразу я сумел освоиться в той области медицины, куда пробиваются лишь самые упертые и рисковые. Не знаю, только ли англичане вечно чувствуют себя шарлатанами и всю жизнь боятся, что грянет разоблачение и расплата? Или это характерное свойство человеческой натуры? Уж кому, как не мне, практикующему психиатру, это должно быть известно… Должно бы.

Я взял свой дипломат, выложил гостиничный счет и пару визиток, которые нужно было куда-то убрать. Выдвинув ящик комода, вынул папку, в которую, возможно, еще долго не заглянул бы, и наткнулся на письмо месячной давности, здорово меня тогда огорошившее. Из Франции, штемпель Тулона, написано чернилами, почерк старческий.

Уважаемый мистер Хендрикс!

Простите, что дерзнул написать, но полагаю, вам будет небезынтересно кое о чем узнать.

История такая. В Первую мировую я был пехотинцем в Британской армии, на Восточном фронте (к слову сказать, я и во Вторую служил, военным врачом). После войны до самой пенсии работал невропатологом, занимался старческими проблемами – провалы в памяти и все такое. Мне и самому теперь уж недолго осталось: возраст, болезни. Вот и решил привести в порядок бумаги и архивы. Листая старые дневники, наткнулся на запись про парня с такой же, как у вас, необычной фамилией. Мы служили в одном батальоне с 1915 по 1918. Эту тетрадь я не *открывал несколько десятков лет, но возникло ощущение, что фамилию парня я где-то уже видел, причем*

относительно недавно. И ведь вспомнил где! На одной очень хорошей книге, она попалась мне лет пятнадцать назад. Некто Роберт Хендрикс. «Немногие избранные»[3]. Я тут же отыскал ее в шкафу. Глянул на фото автора на суперобложке и сразу узнал солдата, с которым служил, то же молодое лицо. Можете себе представить, как я разволновился.

Еще сильнее разволновался, перечитав книгу – в один присест, всю ночь читал. В пятой главе автор упоминает, что его отец был портным. Но тот солдат тоже был портным. Уверен, что автор этой книги вы, доктор Хендрикс.

Далее шли еще какие-то фрагменты из прошлого, а в конце письма этот человек, некий Александр Перейра, приглашал меня в гости. И, насколько я понял, готов был предложить мне работу.

В субботу утром я поехал прогуляться в парк у тюрьмы «Уормвуд-Скрабс». По дороге завернул в Криклвуд, чтобы забрать Макса (парсон-рассел-терьера), гостившего во время моего отсутствия у той самой миссис Гомес, которая прибирается у меня в квартире. Мистер Гомес баловал паршивца паэльей и сладким печеньем, однако, завидев меня, Макс всегда ликовал, что не могло меня не трогать. Когда-то я вытащил его, шкодливого щенка, из нортгемптонширского пруда, и он до сих пор страшно мне благодарен.

Мы обогнули весь парк по периметру, вернулись на аллею, идущую вдоль домов тюремной обслуги, и прошли мимо самой тюрьмы. Я подумал о несчастных в тесных камерах, но подумал мельком. Гораздо больше меня волновало, сумеет ли Аннализа сегодня вечером вырваться ко мне.

Так называемые «отношения» часто развиваются только благодаря тому, что было в прошлом, а настоящее не столь уж важно. Такой вот удивительный парадокс. Ты воспринимаешь их скорее как череду свиданий: связность без каузальности, когда отсутствуют вроде бы обязательные звенья причинно-следственной модели. Тем не менее одна лишь мысль о том, что мы можем и не увидеться, заставила меня остановиться, я вдруг ощутил, как важна для меня Аннализа. Но почему-то никак не желал признавать, насколько глубоко это чувство, или честно назвать его более подходящим словом.

У нас был уговор: если трубку снимает ее «друг», я больше не пытаюсь дозвониться, зато она могла звонить мне когда угодно, и звонила регулярно. Я впустил Макса на заднее сиденье и пошел к телефонной будке, это в двух шагах от парковки. Набрав номер и услышав свое приветствие, я мог поднести к трубке диктофон и записать свежие сообщения. Прослушав себя любимого, я стер запись. Сообщений не было.

С Аннализой я познакомился почти пять лет назад, когда пришел в клинику остеопата, что в квартале Куинз-парк. Аннализа работает там в регистратуре. Проблемы со спиной у меня давно. Из-за бурного роста в переходном возрасте недостаточно крепок нижний сегмент грудного отдела позвоночника. Мышцы стараются его защитить и при малейшем напряжении сжимаются в болезненной судороге (однажды меня прострелило, когда я наклонился выключить телевизор). Я перепробовал кучу лекарств, комплексов упражнений, йогу, но улучшение наступило только после жестких манипуляций новозеландского целителя Кеннета Даулинга.

Аннализе сорок с лишним, она хороша собой, держится с достоинством. В тот день на ней была элегантная юбка и кокетливый свитерок. Уже при третьем визите я заметил в ней, кроме деловитой сосредоточенности и дежурной благожелательности, кое-что еще – затаенно-мечтательный взгляд. Пока ждал вызова в кабинет, я расспрашивал ее про работу и далеко ли ей добираться. Она отвечала охотно, с видимым удовольствием, – наверное, пациенты редко вступали с Аннализой в разговоры. В следующий визит, подписав чек, я задержался у стойки.

---

[3] Перифраз библейского изречения «много званых, а мало избранных» (Мф. 20:16). *Здесь и далее – прим. пер.*

И выяснил, что по вторникам и пятницам она свободна, – это когда я сказал, что мне требуется помощник для бумажной работы и спросил, не согласится ли она за нее взяться.

Кабинет у меня в Северном Кенсингтоне. Это бывшая квартира над магазинчиком, который держат иммигранты из Уганды. Место совсем не солидное, что само по себе свидетельствует об отношении британской медицины к специалистам моего профиля. Хорошо хоть улица спокойная, а в самом помещении не душно. Там имеется кухонька, душевая и маленькая подсобка, видимо когда-то служившая спальней. В этом закутке я разместил картотеку, туда же потом втиснул и столик для Аннализы. Я старался не замечать, когда она легонько задевала меня, проходя в свой «кабинет», и не торопилась одернуть юбку, задравшуюся, пока она усаживалась за стол. Говорят, что так называемое влечение вспыхивает сразу и его нельзя не почувствовать, но всегда существует опасность, что на самом деле с той стороны ничего такого нет и тебе просто мерещится.

Прояснилось все день этак на третий нашего сотрудничества. Помню, я подошел и остановился у нее за спиной, и она тут же сделала шажок назад, нарочно, чтобы коснуться меня. Потом развернулась и чуть подалась ко мне бедрами, теснее прижимаясь к паховой зоне. И минуты не прошло, как мы приступили непосредственно к акту, для чего она удобно наклонилась над столом. Живот у нее слегка обвис, ляжки уже утратили упругую твердость, но эти приметы увядания казались мне трогательными и распаляли еще сильнее.

Аннализа успела побывать замужем, а на тот момент у нее имелся давний сожитель, Джеффри, лет пятидесяти пяти. Она была к нему привязана и не хотела рисковать налаженным домашним укладом. Этот ее Джеффри, юрист по профессии, занимался недвижимостью. Судя по тому, что рассказывала о нем Аннализа, он явно отличался гомосексуальными наклонностями. Разумеется, об этом я не обмолвился ей ни словом; зачем портить женщине такие надежные отношения.

В вечер после прилета я долго отмокал в ванне, потом выпил джину с вермутом и решил все же посетить вечеринку. Судя по доносившейся сверху музыке, гульба уже началась, но пока спокойствию миссис Качмарек ничто не угрожало. Вообще-то шум на верхнем этаже недавно стал более или менее терпимым, хотя еще лет десять назад дом прямо-таки сотрясался от адского грохота. В нынешней музыке много технических эффектов, но она довольно вялая. Мне ни одна из современных композиций не нравится, но они хотя бы не раздражают – так, что-то вроде шумового фона на деловых встречах.

Дверь мне открыла улыбающаяся крашеная блондинка с сильно подведенными глазами.

– Приве-е-т. Я Мисти. Заходите.

Она налила мне вина; бутылок, рядком выставленных на кухонном столике, было много.

– Прошу. «Шато “Забвение”».

– Ши-и-и-з, – позвала она с избыточно бодрой интонацией (австралийской, я верно угадал). Подруга подбежала тут же. Сама Мисти была пониже ростом и миловиднее, с мелкими чертами и гладкой кожей. На лице у Шиз розовели прыщики. Но в целом обе воспринимались как сестры. Улыбчивые голубые глаза и молодая бесшабашность, еще ничем не омраченная. Обе выглядели так, будто счастье им гарантировано.

Гости тоже были молодыми, довольными собой и жизнью, так мне показалось. Музыку сделали погромче, но все равно еще можно было слышать друг друга. Я представился новым знакомым, сообщив, кто я такой, и проявив умеренное любопытство. Я не любил говорить о том, чем занимаюсь, люди сразу замыкались и настораживались. Соврал, что я терапевт, это восприняли спокойно. Ну и сразу же стал выруливать к безопасным общим темам: что интересного передавали по радио, как мне новый фильм.

На вечеринках я всегда слегка теряюсь, не знаю, чего от меня ждут. Я вырос в английской провинции, привык к деревенским танцулькам или к посиделкам у соседей на Рождество или в дни рождения. Славный вечерок порой завершался скандалом (как тот, на котором я

целовался с Полой Вуд), даже в тридцатые годы это было делом житейским. Часто возникали и разовые поводы для сборищ: теннисный турнир во время каникул, вечеринка в загородном особняке. Летом по окончании мероприятия его участники ныряли в темноту, за разросшийся рододендрон, дающий надежное укрытие. Я помню тлеющие огоньки сигарет, летучий смех, шуршание листвы под ногами и прохладу атласного бедра.

– Роберт, давай скорее сюда. Это моя подруга Мэнди. Она медсестра.

Видимо, предполагалось, что врачу проще найти общий язык с медсестрой. И действительно, напрягаться мне не пришлось, поскольку подруга тараторила не умолкая. Было очевидно, что выстраивать логические цепочки рассуждений девушке сложно. Я хотел было помочь коллеге собраться с мыслями и предпринял несколько попыток, но получил резкий отпор. И понял: ей все равно, о чем тараторить, она просто боится молчания.

Вскоре музыка стала еще громче, разговаривать теперь можно было только в узенькой кухне. Уйти раньше десяти – неприлично. Взглянув на часы, я приготовился еще пятнадцать минут подпирать задом стиральную машину. Собеседников было двое, парень в красной клетчатой рубашке, озеленитель (деревья обрезал), и его брат, агент турбюро.

Ребята уже поднабрались. Со мной держались по-приятельски, но проскальзывало недоумение. Не ожидали, что я и впрямь притащусь. Меня кольнула зависть к их мужской жизни: наверняка неутомимо домогаются девчонок с молодыми грудями и белозубым оскалом.

– Прошу клиента немного подождать, а сам связываюсь с авиакомпанией и – чик-чик – распечатываю копию расписания, – сообщил турагент, подливая себе красного. – Вот и весь фокус. Это вам не мозги оперировать.

– И даже не деревья, – добавил я.

Юмора ребята не поняли. Я повернулся к бутылке, чтобы налить еще в пластиковый стаканчик, и оказался лицом к лицу с медсестрой.

– А можно кое-что у вас спросить? Вы даете частные консультации?

Я присмотрелся к ней – зрачки расширены, взгляд стеклянный.

– Консультаций не даю.

Она уперлась мне в грудь ладонью. Я испугался, что ее сейчас вырвет. Нет, просто оперлась.

– Одному человеку требуется помощь. У него жуткая депрессия и вообще…

– Я же сказал. Терапевт я. С депрессией не ко мне.

– Не к вам? Но Мисти говорила…

– Мало ли что она говорила. С Мисти мы знакомы всего пару часов.

Протиснувшись мимо собеседников, я вышел из кухни, поблагодарил Шиз за чудесный вечер и выскочил на лестничную площадку. Дома включил телевизор, налил себе хорошего выдержанного виски и рухнул в любимое кресло. Напряжение от шумного новоселья сразу исчезло; я зажег сигарету и откинул голову. Самое время было достать кассету с фильмом; примерно на середине приму снотворное. А когда кино закончится, втисну в уши затычки, чтобы заглушить последние доносящиеся сверху всплески нудного техно, нырну под одеяло – и в путь по морю снов до самого утра.

И двадцати минут не прошло, как в дверь робко постучали.

– К вам можно?

– Откуда вы узнали, где я живу?

Это была медсестра, Мэнди. Узнала она от Мисти.

– Вам плохо? Может, воды?

Она села на диван и разрыдалась.

– Прости, Роберт. Сама не понимаю, что делаю. Просто ты старше… и ты врач. А мне так плохо…

Я сел рядом.

– И сколько же ты выпила?

– Не знаю. До вечеринки выпила немного вина.

– Хочешь, я вызову такси? Ты где живешь?

– В Бэлхеме. Можно я еще немного побуду? А то… а то… очень все кружится.

– Сейчас сделаем тебе чаю.

Главное, побыстрее выпроводить ее из квартиры, соображал я, пока возился с чайником и чашкой. Когда я вошел с подносом в гостиную, девица успела снять туфли и разлечься на диване. Мордашку закрывали свисшие волосы, на пятках сквозь нейлон колготок проступили влажные пятна.

– Вот тебе чай. Пей, а я пока вызову такси.

– Я сама поймаю на улице.

– Не уверен.

– Запросто. Еще и одиннадцати нет.

Раз так все обернулось, подумал я, надо отправить барышню назад к друзьям: пусть сами с ней возятся. Мэнди рывком поднялась, снова приняв сидячее положение. Потянулась за чашкой, подол юбки приподнялся над плотными ляжками.

Я отошел к окну.

– Ты живешь одна?

– Мы втроем живем. Но сейчас девочек нет дома. А ты?

– А я один.

– У тебя нет жены?

– Нет.

– А подружка?

– Послушай, Мэнди, давай-ка я усажу тебя в такси, и ты спокойно покатишь в свой Клэпхем. Договорились?

– В Бэлхем. А куда нам торопиться? Суббота, завтра воскресенье. И мне так нужно… с кем-то поговорить.

– О чем именно?

Последовал рассказ про одного близкого друга, сопровождаемый периодическими взрывами негодования; от меня требовалось сочувствие. Но изложение было начисто лишено логических связок, а восстанавливать их оказалось мне не по силам.

– … ну ладно, думаю, а я-то при чем? Короче, может, надо было сразу сказать, что мне это не?.. Точно, надо было… Ой, что это?

– Кто-то пришел. Кто-то еще.

Я вышел в холл и нажал на кнопку домофона.

Кем-то еще оказалась Аннализа, и на лице ее бушевала такая буря чувств, что мне стало не по себе.

– Слава богу, ты дома! – Она влетела в холл и, даже не остановившись для приветственного поцелуя, устремилась в гостиную.

И тут же затормозила – резко, с вытаращенными глазами. Я в замешательстве представил дам друг другу.

Далее разыгралась сцена, достойная мультика или мелодрамы, виденной мной в нью-йоркском самолете. Воздух сотрясали обличающие вопли (с обеих сторон). Аннализа, разумеется, вообразила, что я жажду слиться с медсестрой в половом экстазе, для чего и заманил ее к себе.

Грань между ненавистью и любовью чрезвычайно тонка. Потребность защитить свое эго от дальнейших унижений понуждает человека орать на того, кого он любит.

В конечном итоге ушли обе. Я устало рухнул на диван, почувствовав, до какой степени я одинок. Все мои знакомства и дружбы, вместившиеся в прожитые шестьдесят с лишним лет, не могли затушевать этой истины: я катастрофически одинок.

Глава вторая

Проснулся я рано, вырвавшись из страшного сна. Пока брился и чистил зубы, пытался вырваться из пут кошмара, сплетенного подсознанием, и переключиться на реальную жизнь. Обыденное для меня начало дня.

Накормив Макса и почитав газету, я ухитрился кое-как собраться с мыслями, только мысли эти были не об Аннализе. Нет, не о ней, а о письме Александра Перейры. Перейра утверждал, что был знаком с моим отцом – дольше, чем я. Он погиб, когда мне было два года, незадолго до Перемирия[4]. Есть фотография, где он держит меня на руках. Но самого отца я не помню.

Моим защитником и кормильцем была мама. Маленькая, худенькая, вечно всего боявшаяся. Работала в администрации многопрофильного сельхозпредприятия, надрывалась как каторжная. Но получая в конце недели деньги, всегда ждала, что ей скажут: «Вы уволены». Ежемесячные счета от разносчика молока и за электричество были для мамы очевидными уликами ее травли. К себе на чай мы никого не приглашали, поскольку маму «не совсем устраивало» наше окружение. Если приглашали нас, мама настораживалась: с чего это вдруг такое радушие? Поэтому мы редко куда-нибудь выбирались. Ее родители вроде бы когда-то держали пансион на южном побережье, но дом этот сгорел. Подозреваю, что на самом деле дед с бабкой развелись или просто разошлись, но мама решила замаскировать скандальный казус историей про пожар. С моим отцом она познакомилась в доме тетки, жившей неподалеку от Лондона. До войны папа был портным, но мама уточняла: не близоруким одиночкой с иголкой в руках, гнущим спину в тесной каморке. Когда папа в свои тридцать отправился в 1915 году добровольцем на фронт, он уже владел на центральной улице собственным ателье с шестью работниками. У мамы сохранилось фото: они с отцом в день помолвки. Там она улыбается, хотя в жизни я никогда не видел ее улыбающейся; впрочем, даже на этом снимке вид у мамы немного испуганный.

У отца был старший брат, дядя Бобби, он жил в специализированном заведении. После смерти отца, в 1918 году, мама каждое Рождество ездила его навещать и однажды – мне тогда было почти семь – взяла меня с собой. Мы долго ехали на автобусе до самой окраины главного города графства. Наконец автобус, прокашлявшись, потащил нас на холм, и мы высадились у каких-то обветшалых лавок. В ста ярдах от этих домишек высились мощные железные ворота, в деревянной будке при них сидел привратник, перед которым курилась жаровня. Привратник кивнул нам: проходите.

– А что с дядей? – спросил я. – Почему он здесь живет?

– Он немножко чудной, – сказала мама.

Мы вышли на подъездную дорожку посреди просторного парка. В отдалении виднелись какие-то фермерские (так мне показалось) постройки и двор с высокой кирпичной трубой; из нее валил дым. Труба напоминала фабричную, только гораздо меньше размером. Длиннющее главное здание тянулось почти во всю улицу. Мы вошли в центральный вход, подошли к стеклянному кубу с окошком, тетенька спросила наши имена. Холл – с каменным полом, под высоким стеклянным куполом – был залит солнечным светом и сиял чистотой, и я порадовался за дядю.

Мы очень долго куда-то шли. Слева равномерно мелькали окна, выходившие в парк; справа – накрепко задраенные двери с цифрами, из-за которых доносились непонятные звуки. Наконец мы оказались в другом просторном зале – уменьшенной копии главного холла внизу, откуда попали в самое дальнее помещение, где нас ждал дядя Бобби.

---

[4] Имеется в виду Компьенское перемирие, положившее конец Первой мировой войне и подписанное 11 ноября 1918 г.

Это была большая комната с десятком старых облезлых кресел. У входа, скрестив руки на груди, маячил страж в длинной коричневой куртке – я видел такие на грузчиках в мебельном магазине. Он пометил галочкой наши фамилии в своем листочке на планшете и кивнул в сторону мужчины у окна, сидевшего в кресле, на вид чуть приличнее остальных.

Мне дядя Бобби показался удручающе «взрослым», лет сорока, не меньше. Сильно поредевшие темно-каштановые волосы, очки с заляпанными стеклами; прибавьте к этому заношенный кардиган и лоснившийся от старости галстук.

– Привет, Бобби. Вот, пришли тебя проведать. Как твои дела?

Как у дяди дела, понять было затруднительно, поскольку прямо на вопросы он не отвечал, но говорил не умолкая. К маме два-три раза обратился по имени – Джанет, не переврав его. Рассказывал дядя не про себя, а про каких-то людей, кто что сказал, сделал или не сделал. Мама ободряюще кивала, сочувственно цокала языком или хмыкала где вроде бы полагалось.

Мама и меня попыталась вовлечь в разговор, но взгляд дяди Бобби лишь скользнул по мне, как будто зафиксировать впервые увиденный объект был не в состоянии. Дядя говорил с назойливым воодушевлением, причем интонация не менялась на протяжении всего монолога. Было ощущение, что он громко декламирует текст на незнакомом языке.

Все это я обдумал и домыслил потом. А во время встречи меня волновало другое. Ведь это брат моего отца. И наверняка он сильный и добрый, не зря же мы с ним одной крови, мы родня. И скоро я сумею его понять, и тогда подтвердится, что он сильный и добрый.

Я посмотрел на дядины руки, и мне стало интересно, в какие игры они с папой играли в детстве. Он подавал мяч, папа отбивал? Ну а в рождественские каникулы они, наверное, вместе лепили снеговиков. Я заглядывал ему в глаза, надеясь увидеть в них что-то знакомое, детское. Взрослое мне было чуждо и непонятно. Взрослые скучные, у них нет никаких игр, никаких радостей.

На тележке привезли чай, и дядя шумно его прихлебывал. Устав глазеть на дядю, я обернулся к маме и заметил, что она так и не сняла свою фетровую шляпку с перышком на боку.

Разговор постепенно стал чахнуть, паузы становились все длиннее. Мама все чаще терялась, не зная, что сказать, и заметно нервничала. Дядя вытащил из кармашка сигарету и прикурил; рука у него дрожала.

Я всматривался в изрезанное морщинами, старательно выбритое лицо – только под нижней губой остался островок щетины. Я настойчиво заглядывал ему в глаза. Это была моя единственная возможность приблизиться к отцу. Я ведь так мечтал к нему прикоснуться.

На следующий вечер после вечеринки и грянувшего за ней нелепого скандала мне захотелось еще раз прочесть письмо Александра Перейры, человека, утверждавшего, что он знал моего отца. Вот что писал Перейра:

> *Я живу на очень маленьком, но миленьком французском островке, туда можно добраться из Тулона на водном такси, от южной оконечности presqu'île[5]. (Островок мой примерно в пяти километрах от острова Поркероль, легко сверить по карте.) А ну как вам захочется погостить у меня денек-другой? Не скажу, что я хорошо знал вашего отца, но у меня с войны остались кое-какие документы, фотографии, в том числе и с ним. На островке есть виноградник, здешние вина мало кто знает, однако поверьте, они стоят того, чтобы познакомиться с ними поближе.*
>
> *Завершая письмо, позволю себе повторить, что книга ваша действительно меня восхитила. У вашего покорного слуги тоже имеются кое-какие открытия в той же области. Когда мы просмотрим мой скромный*

[5] Полуострова *(фр.)*.

архив, сбереженный как память о Первой мировой войне, наверняка у нас найдется о чем поговорить, коллега. Если все пойдет так, как мне хотелось бы, то я попрошу вас (разумеется, если у вас возникнет интерес) продолжить мою работу и предложу стать моим душеприказчиком, передав вам свои авторские права.

Подобное предложение от постороннего выглядит по меньшей мере странным. Но надеюсь на вашу снисходительность, вы уж простите меня, старика! Если роль душеприказчика вас смущает, не берите в голову. В любом случае славно отдохнете. Это я вам обещаю.
Искренне ваш Александр Перейра

Утром я поехал на площадь Сент-Джеймс, в Лондонскую библиотеку, разузнать про этого Перейру. В справочном отделе я нашел *Conseil de I'Orde des Médecins en France*[6]. Разумеется, Александр Перейра был в этом каталоге; он родился в 1887 году. Точно он. Солидный послужной список: тут тебе и работа в клиниках, и преподавание. Карьерный рост внезапно прекратился после Второй мировой войны. Еще в одном справочнике, уже с подробной библиографией, перечислялись куча статей и пять монографий, все о проблемах памяти и сенильной деменции. До войны Перейра занимал ответственные посты. Его путь к успеху был [5] короток – французская система образования предоставляет привилегии отпрыскам элиты, которые обучаются в лицее (*lycée*), затем поступают в высшую школу *(grande école),* а уж оттуда попадают прямиком на самые завидные должности, будь то медицина, финансы или инженерное дело.

Какой контраст с моим собственным обучением, невольно подумал я. В деревенской школе на краю выгона, затворенного калиткой, сколоченной из пяти жердей, было три классных комнаты. И это школа? Больше похоже на хлев. Возможно, хлев там раньше и был.

Денег тогда, в двадцатые, катастрофически не хватало, и всем мучительно хотелось забыть недавние ужасы.

Кухарка миссис Адамс, с волосами, убранными под сеточку. Вот она держит ложку над огромным рисовым пудингом, сейчас проткнет бежевую корочку… Вот мои ноги, бегут-спотыкаются по неровному двору, за которым наши классные комнаты… Вот мистер Эрмитейдж, директор. Его ранили под Ипром, протез правой руки был втиснут в рукав пиджака, а под правой брючиной скрывалась загадочная пружина, соединявшаяся с подъемом ботинка…

Нам в основном задавали плести коврики из рафии и лепить из пластилина. Учитель был нетерпелив, поэтому меня часто ставили в угол. На следующий год меньше стало уроков труда и больше арифметики; еще мы разбирали буквы и учились читать. Я помню то утро, когда буквы вдруг стали складываться в слова. Тогда же я научился ловчить – лень было соединять букву за буквой. Если слово начиналось с «конв», я тут же выпаливал: «Конверт», а что же еще это могло быть? Но догадывался, что так делать нельзя.

После занятий я шел по полю мистера Покока (пятьдесят акров) к ферме, на которой работала мама. Я нарочно забредал в чащобу, где можно было и поплутать. Надо мной и вокруг меня шумела листва, это приятно расслабляло, я брел наугад среди торчащих корней и мхов, среди лесных цветов-малюток, которые только я один и видел. Однажды даже заблудился: забрел в соседнее графство, и местному полицейскому пришлось ночью доставлять меня домой.

На маминой ферме была конюшня, там работала Джейн, она позволяла мне иногда чистить стойла, а если у нее бывало хорошее настроение (такое случалось редко), рассказывала про нрав и повадки лошадей. Мне ужасно хотелось ездить верхом, доказать себе, что я

---

[6] Французский Совет врачебного ордена *(фр.).*

[5] Полуострова *(фр.).*

могу. Некрупный жеребчик Кочегар был моим любимцем. В общем, мало-помалу я научился держаться в седле.

Вскоре я попал в класс самого мистера Эрмитейджа. Того, кто плохо соображал, директор мог ударить линейкой по руке, но материал объяснял доходчиво. Однажды он попросил меня прийти с мамой до начала уроков. Мы с ней приготовились к неприятному разговору. Я не понимал, в чем провинился. Видимо, нарушил какой-то запрет, но какой?

Мы приехали в восьмом часу, класс еще только подметали и как раз привезли бидоны с молоком. Беседовали в классе (больше было негде). Мы с мамой сидели на первой парте, а директор перед нами на большом учительском стуле. Мистер Эрмитейдж сказал, что частной городской школе для мальчиков выделена квота на бесплатное обучение для учеников из сельских школ; деревенские должны разбавить обычный контингент на четверть. Если у мамы нет возражений, он предложил бы мою кандидатуру. Возражений, суть которых я улавливал смутно, у нее было много. Что у каждого свое место в этой жизни, что все это ни к чему, и так далее и тому подобное. Но авторитет Эрмитейджа оказался сильнее. Его изувеченное пулями тело было зримым свидетельством того, что реальность убедительней любых рассудочных построений.

Он поднялся со стула и, прихрамывая, подошел к окну. Стоял и смотрел куда-то поверх полей, на видимые только ему одному холмы.

– Когда там, во Франции, все кончилось, – заговорил он, – я стал подумывать о тихой жизни, мечтал учительствовать где-нибудь в провинции. Тогда каждый из нас прикидывал, что будет делать после войны. Многие хотели заняться бизнесом, открыть паб. А я часто представлял себе именно этот момент: я распахиваю дверь в большое будущее перед деревенским парнишкой. Миссис Хендрикс, вы не обязаны отправлять его в городскую школу, но мне кажется, он должен там учиться.

Пристыженная мама дала согласие, и в сентябре я приступил к занятиям в частной школе. Она располагалась в красном кирпичном здании, какие обожают ревнители викторианской эпохи, и во всем копировала именитые заведения старого образца, где главными дисциплинами были греческий и латынь. Как известно, выскочки куда более рьяно, чем истинные аристократы, следуют любой моде. Поэтому ни в одной другой английской школе не зубрили с таким упорством спряжение глаголов, попутно осваивая Овидия и Еврипида. К счастью, мне все это нравилось. Вникая в грамматику латинских шедевров или рифмуя поэтические строки, я воспринимал это как игру – с таким же примерно удовольствием мальчишки собирают и разбирают машинки. Красоту слога Тита Ливия и Гомера я понимать не научился, но этого и не требовали, гораздо важнее было усвоить шаблоны грамматических правил.

Преподаватель физики призывал нас наблюдать за водой, когда она набирается в ванну; так нам будет легче понять, говорил он, как жидкость превращается в пар и как происходит вытеснение этой самой жидкости при погружении в нее тела (в данном случае твоего собственного). Но я, глядя на воду, металлическую пробку, зеркало и саму ванну, думал о том, как бы уложить названия этих предметов в размер гекзаметра.

Сейчас, спустя годы, все это выглядит крайне странным, но, вероятно, подобные головоломки помогали нам отвлечься от размышлений об унылой действительности. Что тогда все мы уяснили твердо, так это ничтожность нашей эпохи и наших государственных деятелей. Никакого сравнения с героями и законодателями античности. Невозможно даже представить себе, чтобы мистер Невилл Чемберлен умудрился очистить Авгиевы конюшни, а мистер Стэнли Болдуин исхитрился добыть золотые яблоки из сада Гесперид.

Ужинали мы с мамой рано, а потом я шел наверх делать уроки. Овчарка Бесси топала за мной (нам дали ее, поскольку без собаки в деревне никак нельзя), забегала то слева, то справа, видимо, считая своим долгом загнать меня в воображаемую овчарню. С уроками я справлялся за час, оставалось время на Библию. Маму беспокоило, что я подолгу сижу «уткнувшись в

книгу». Я не понимал, что ей не так, ведь я делаю то, к чему всех нас призывают, и, если честно, я не без удовольствия заставлял ее нервничать. Ребенок жаждет быть в центре внимания, ради этого можно и маму расстроить: еще одна маленькая победа над высокомерием взрослого.

Дом у нас, представьте себе, был большой, имение все-таки. В папины руки он попал перед войной. Откуда вдруг взялись сто фунтов и страховой полис, мама так и не разобралась. «Твой папа знал, что к чему», – часто повторяла она, вот и все объяснение. Почти все в округе снимали коттеджи, которые обходились дешевле. Многие и рады были бы жить в нашем доме, но им это было не по карману.

Имелся у нас и сад площадью в акр, дальней частью граничивший с полем; еще на участке стояло несколько флигелей, в которых когда-то дубили кожи: память о небольшом кожевенном заводике. Комнат в главном доме было в избытке, и часть мама сдавала.

Я страшно бесился, когда появлялся очередной жилец, так как после осмотра комнаты и сговора насчет цены, мама неизменно изрекала: «Роберт пусть вас не смущает. Он парень с причудами, но не озорник, мешать не будет». И трепала меня по волосам.

Моя спальня была в конце коридора, окно выходило на лужайку, по краям которой росло несколько кустов, а посередке старая раскидистая яблоня. Украсить сад тюльпанами или, скажем, георгинами было некогда, да и не умели мы ухаживать за цветами. Мы с мамой все время торчали на кухне, она же служила гостиной. Остальные комнаты на первом этаже отапливать было накладно, ими пользовались только летом. В половине седьмого квартирант мог попить на кухне чайку, а вообще, считала мама, пусть не вылезает из своей комнаты.

Дом был примечателен не только запертыми комнатами и угольными каминами. Построенный сто лет назад, он казался намного древнее, а в некоторые уголки нашего «поместья» страшно было даже заглядывать. В одном из старых флигелей кожевенного заводика, в неосвещенной кладовке, стоял огромный деревянный ларь без крышки, в котором жили крысы, а может, и кто посвирепее. За ларем была дверь, которая вела куда-то, где было темно до черноты; я так ни разу и не рискнул туда сунуться.

С той стороны нашего дома, что ближе к ограде, имелась железная лестница, которая поднималась к окну загадочного помещения неопределенного назначения. Мне часто мерещилось, что в этих продуваемых сквозняком коридорах, мощенных кирпичом двориках, погребах и пропахших сыростью чердачных каморках притаились прежние обитатели дома, и я повсюду слышал шорохи иной жизни.

У меня ворох претензий к своему образованию; оно обрывочное и отягощено балластом никчемных сведений. Слишком часто я чувствовал себя недоучкой в компании тех, кто окончил более качественные заведения. У этих счастливчиков был шире кругозор, и держались они свободнее. Ну да, опубликовал я одну монографию, но этого мало, чтобы претендовать на сотрудничество с таким светилом, как этот самый Перейра.

Смущала и вероятность узнать об отце что-то неожиданное. Мама говорила, что человеком он был хорошим и примерным гражданином; в деревне не принято было обсуждать погибших на войне, но если кто-то вдруг поминал отца, то только по-доброму, подтверждая слова мамы. Соответственно, я сотворил себе определенный образ, и он занимал значительное место в моей жизни. Из своего небытия папа продолжал оказывать на меня влияние, возможно не слишком заметное, но постоянное. Сам того не осознавая, я старался быть не хуже его. По мере взросления именно благодаря отцу во мне все чаще возникал азарт чего-то добиться: был бы он жив – гордился бы мной. Порою я почти верил, что он за мной наблюдает.

Не скажу, что эта вечная оглядка приносила только пользу, однако в некоторых ситуациях она помогала мне правильно скорректировать свое поведение.

Поговорить с человеком, который был знаком с отцом, безумно хотелось, но я опасался, что Перейра открыл мне не все свои «планы». Мало ли что у него на уме? И вообще, кто знает,

чем обернется для меня встреча с маститым коллегой? Она может пробудить в памяти былые неудачи, разбередить душевные раны. Не зря говорят: не будите спящую собаку.

Я рассудил, что свору псов действительно лучше не дразнить, пусть себе дремлют. И на следующий же день написал старику письмо с отказом, запечатал и оставил на столике в холле.

Аннализа решилась вырваться ко мне только в субботу утром.

– Джеффри узнал про нас. Я тогда и прибежала к тебе, чтобы сообщить. И напоролась на эту девицу.

– Откуда он узнал?

– Да какая разница? Узнал. Наверно, шпионил. Захотел, наконец, выяснить, где я пропадаю. Мы всю неделю выясняли отношения. А вчера вечером Джеффри собрал вещи и ушел.

Меня охватило отвратительное чувство сожаления.

– И что ты собираешься делать?

– Ничего. Начну новую жизнь.

– Значит, что-то делать все-таки собираешься.

– Только учти, Роберт, с тобой у нас все. Слишком это больно.

– Прости.

– Ты не виноват. Я давно хотела порвать с тобой. У нас тупиковые отношения.

– Значит, ты решила расстаться сразу с обоими.

– Да, так будет проще. Теперь я смогу снова стать самой собой. Смогу начать с чистого листа.

Я сел, закурил сигарету.

– Выходит, слишком сильная привязанность игрушка небезопасная.

– Роберт, не пори ерунду. Я всегда буду вспоминать только хорошее. Никогда тебя не забуду. И ни о чем не жалею.

Наверное, надо было ее догнать. Наверное. Я услышал, как захлопнулась дверь внизу и как вслед за тем задребезжали стекла. Мощный был хлопок. Я посмотрел на свои руки и ноги, почему-то не желавшие даже шевельнуться. Неужели я готов отпустить эту женщину? Неужели я позволю ей разрушить нашу близость? Ну и с кем еще мне будет так неутолимо сладко? Ради нее же самой я обязан доказать, что такая телесная гармония – редкая удача.

Я побрел на кухню заваривать чай. Вот этому руки и ноги не противились. Вот это казалось им необходимым. Ближе к вечеру пошел в кинотеатр на Керзон-стрит смотреть трехчасовой французский фильм, он был в моем вкусе. Это когда главные герои творят что хотят, плевать им на мораль и на все эти «она (он) не нашего круга». Сигаретный дым, любовный угар, улочки провинциальных городов.

Ночью я никак не мог заснуть; организм реагировал на расставание с Аннализой. Пошел в ванную, открыл кран, чтоб запить легкое снотворное, которое сам себе назначил.

Меня, разумеется, удручала потеря и возникшая перспектива теперь уже четко обозначившегося одиночества, но назвать это душевной травмой все-таки было нельзя. Я воспринял разрыв скорее как возвращение к норме. К тому, что было всегда: мне не привыкать к одиночеству. Люди изначально одиноки, любые наши зависимости суть отклонение от нормы. Со времени моего романа с Л. прошло больше тридцати пяти лет; после войны я не испытал ни одной по-настоящему пронзительной сердечной привязанности. Так, интрижки. По физиологической надобности или ради элементарного удобства.

Итак, я учился в приличной городской школе и лет с шестнадцати начал вести дневник. Уже не первый десяток лет он лежит у меня в нижнем ящике письменного стола под грудой фотографий, которые, как только появится свободное время, я все-таки должен рассортиро-

вать и запихать в альбом. На следующий же день после ухода Аннализы я извлек дневник на свет божий.

Все всколыхнулось. Оказывается, далекое прошлое было во мне живо по-прежнему. Пока я листал исписанные черными чернилами страницы, меня вдруг настигло прискорбное откровение: еще тогда, мальчишкой, я был предрасположен к одиночеству.

В выпускном классе мне сказали, что стоит попытаться поступить в университет, на отделение классической филологии. Но для этого мне позарез нужно было выиграть стипендию, денег на оплату обучения у мамы не было. То есть требовался хороший уровень и, стало быть, дополнительные занятия. По совету директора я снял комнату у одного вышедшего на пенсию учителя. Мистер Лиддел недавно овдовел и жил неподалеку от школы. Теперь я мог сидеть за учебниками с утра до ночи. Вот так в семнадцать лет я начал жить по съемным углам. Милостивый боже, каких я только не навидался мансард, чердаков, каморок. Сколько карнизов и крыш маячило перед моими глазами. Крыши черепичные, крыши шиферные, блестящие и матовые, светлые и темные…

Дорога от школьных ворот до дома мистера Лиддела занимала десять минут на велосипеде через лесок, по выложенной камнем дорожке, обсаженной рододендронами. Моя клетушка располагалась на верхнем этаже. Железная кровать, комод и письменный стол. Окно выходило в сад, где росла плакучая лиственница, напоминавшая нечесаную собаку (есть такие породы, у которых шерсть, как веревочки на швабре). Не различишь ни ствола, ни веток, только густые свисающие космы. Эти зеленые космы ерошились от малейшего ветерка, отчего пес каждый день выглядел немного по-разному.

Будил меня утром звон колокольчика за стеной. Это мистер Лиддел дергал за шнур, пропущенный между балясинами перил до первого этажа.

– Доброе утро, Роберт.

– Доброе утро, сэр.

День начинался с Тацита. Мне полагалась чашка чая, а за ней – целый час штудирования «Истории». Лиддел выбрал Тацита нарочно, фразы у него настолько плотны и выразительны, что с грамматическим разбором всегда жуткая канитель. Зато, разогрев мозг разминкой, в школе уже на первом уроке я все ловил с лету.

После занятий все шли домой, один я отправлялся в столовую, есть яйцо вкрутую или тост с сардинами, оставленные на тарелке под жестяной крышкой; на крышке лежала карточка с моей фамилией и инициалами. Пил очень крепкий чай; поговаривали, что в него добавляют бром. Вечером я делал уроки, потом спускался на второй этаж, в хозяйский кабинет. Это была квадратная комната, вдоль стен выстроились шкафы с книгами. Окно с фрамугой, из которого открывался вид на газон и живую изгородь из лавровых кустов.

Мистер Лиддел вышел на пенсию в конце предыдущего семестра, значит, ему было лет шестьдесят пять. Но выглядел он гораздо старше. Совсем седой, морщинистый, очки в роговой оправе. Во всем облике старческая сухость, почти крошливость…

У него было два твидовых пиджака, полсеместра он носил один, потом другой. Еще через полсеместра снова менял второй на первый. Остаток вечера у нас был посвящен греческому стихосложению: Лиддел отыскивал стихотворение какого-нибудь викторианского поэта, а я должен быть преобразовать оное в оду в стиле Пиндара, используя его античную строфику. Или он предлагал фрагмент из Томаса Маколея, требуя, чтобы тот зазвучал как гекзаметр Гомера.

Я прикинул, что мистер Лиддел родился примерно в 1868 году, то есть до объединения Италии и Германии.

На уроках истории мы проходили франко-прусскую войну. В школьной программе этот этап истории был самым близким к нашей эпохе, что там было дальше, нам знать не полагалось. Осада Парижа, Парижская коммуна, полет Леона Гамбетты на воздушном шаре из осажденного Парижа в Тур…

Меня вдруг осенило, что все это происходило, когда мистер Лиддел уже жил на свете.

Потрясенный своим открытием, я однажды издалека завел разговор об истории Пруссии.

– Сэр, вам не случалось задумываться, что ход истории зачастую зависит от сущих пустяков?

Раскурив очередную трубку, Лиддел изумленно вскинул брови:

– От каких именно?

– Ну, например. Мы учили, что Бисмарк послал Наполеону Третьему оскорбительную депешу. Тот так разозлился, что объявил Пруссии войну. Бисмарку только это и было нужно. А представьте, что Наполеон просто пожал бы плечами и сказал себе: «В жизни всякое случается». И никакой войны, унижения Франции, Германской империи и Первой мировой войны.

– Все не так просто, – сказал мистер Лиддел. – Причин бывает много.

– Вы ведь уже застали все эти события, сэр?

– Да. В широком смысле слова застал. Вероятно, объединение Германии было неизбежным. Крупные страны всегда ищут способы прирастить территорию и с кем-нибудь объединиться. Для этого им обычно приходится развязывать войну.

– Разумеется, сэр, поэтому все в истории предопределено заранее.

– Что поделаешь. Существуют силы более могущественные, чем желание отдельной личности.

– Но разве в Библии не сказано, что у людей есть выбор и они сами решают, поддаться соблазну или нет? Вспомните Адама и Еву. Мы тоже можем сами выбрать добро, а не зло, поступать, как велит Христос.

Мистер Лиддел откинулся на спинку кресла. Кресло было замечательное, с боковой выдвижной полкой, на которой лежала стопка детективов. Пыхнув трубкой, он улыбнулся. Наверное, подумал, что ему платят главным образом за умение подстрекать старшеклассников к подобным дискуссиям.

– Так, значит, по-твоему, я виг, то есть либерал, – сухо усмехнувшись (обычная его манера), спросил мистер Лиддел.

– И вообще коммунист. – Я насмешливо фыркнул, демонстрируя, что шучу. – Кем бы вы ни были, вы точно приверженец детерминизма.

– Из чего следует, что ты приверженец тори?

– Я так не думаю, сэр. Но действительно считаю, что если бы у Наполеона Третьего в тот день не болела голова, он бы отреагировал на депешу иначе. Гогенцоллерны продолжали бы править и без всякой войны.

– Откуда ты взял, что у Наполеона болела голова?

– Иначе бы он действовал более осмотрительно. Наверняка накануне вечером перебрал бренди. Не случилось бы франко-прусской войны, не возникла бы Германская империя. Не возникла бы империя, не началась бы Первая мировая война.

Мистер Лиддел посмотрел на меня с жалостью.

– И мой папа был бы жив, – добавил я.

Повисла неловкая пауза. Я и сам не понял, почему вдруг свернул на свое, личное. Тогда я еще не читал трудов по психологии, где сказано, что подобные «случайные» реплики как раз и выдают то, ради чего затеян разговор.

Потом произошло нечто ужасное. Мистер Лиделл полез в карман своего твидового пиджака за платком. Долго сморкался, после чего, сдвинув очки, поднес платок к глазам, полным слез.

У меня внутри все оборвалось. Сердце ушло в пятки.

Наверное, он это из-за своего младшего брата, погибшего при Пашендейле… Или из-за жены. Да, точно. Мои слова напомнили ему о миссис Лиддел. Мы никогда о ней не говорили и теперь уж наверняка никогда не будем.

Из моего окна была видна не только косматая лиственница, но и часть соседского сада. Однажды вечером я сидел с томиком Катулла, уже почти не надеясь, что у меня когда-нибудь будет своя настоящая жизнь. И тут на соседской лужайке появилась девушка, похоже, моя ровесница.

Мистер Лиддел говорил, что рядом живут Миллеры, но я так рано уходил и так поздно возвращался, что никого, можно сказать, и не видел. Глава семейства работал на заводе электрооборудования, дочку звали Мэри.

В сад она вышла в костюме для тенниса, держа в руке стакан с апельсиновым соком. Расстелила коврик, легла, раскрыла книгу. Я отложил Катулла в сторону.

Сестер у меня не было. А знакомые девочки… Это как посмотреть. Однажды я на несколько часов застрял в местной библиотеке, разглядывая аборигенок из диких африканских племен и анатомические атласы, а потом пошел в школу для девочек. Один-единственный раз. Они ставили шекспировского «Венецианского купца». Помню, глядя на Порцию в исполнении Линдсей Эллиот, я почувствовал щекочущий озноб в затылке. После спектакля я остался поболтать с девчонками. Общаться с ними было гораздо проще, чем с парнями из класса. Но никто из девочек не приглашал меня в гости. То одна, то другая могли помахать мне рукой на автобусной остановке у старого причала, но этим наше знакомство и ограничивалось. В книгах я читал о любви и роковых страстях, но девочки, которых я видел вокруг, точно были неспособны на такие роскошные безумства. Понимая, насколько экзальтированны книжные персонажи, я тем не менее отдавал себе отчет в том, как уныла моя собственная жизнь. Наверное, так жить все-таки нельзя…

Наверное, я недостаточно предприимчив, продолжал размышлять я, рассматривая лежащую на коврике Мэри Миллер. Зрелище, безусловно, заслуживало внимания. Одна ее нога была прижата к травяному покрову, но на уровне бедра немного приподнималась, ближе к колену сужаясь и принимая форму конуса. Эти плавные линии рождали желание провести по ним рукой, почувствовать под тугой кожей плотные мускулы. Вот она вскинула левую, скрытую от моих глаз ногу; правая еще теснее прижалась к земле. Потом последовал резкий взмах от колена, и теперь на земле оказалась уже левая нога. Похожие движения проделывают пловцы. Такие же резкие и ритмичные.

Поболтав ногами, она сорвала с головы плотную теннисную ленту, и темно-каштановые волосы рассыпались по плечам. Название книги я, конечно, рассмотреть не мог. Но было очевидно, что читать Мэри неохота. Вот она уткнулась лицом в сгиб локтя, закрыла глаза. Видимо, волосы ей мешали, и она тряхнула головой. Хотя нет, виноваты не волосы, а какая-то букашка, это ее она отогнала.

Она снова оперлась на локти: все-таки читает, одновременно потягивая сок. Наверное, у Миллеров на газоне сонмы насекомых, подумал я, увидев, как Мэри задрала юбочку и поскребла ногтями ляжку. Почесавшись, она положила руки под голову, приникла к ним щекой и замерла, наверное, ее сморил сон. Теперь мне проще было представить, какая она без одежды. Я вспомнил Афродиту, поднимающуюся из пены Эгейского моря, но этот образ никак не сопрягался с образом задремавшей школьницы. В моем воображении богиню окутывал ореол эротики, куда до нее современной старшеклассниче…

Неужели влюбленность возникает лишь тогда, когда предмет обожания подвергается идеализации, то есть когда к делу подключается фантазия? Я попытался найти ответ у Катулла. Стал листать томик. «Будем жить, моя Лесбия, будем друг друга любить, – призывал гениальный древнеримский повеса, – поцелуй меня тысячу раз»[7].

[7] Пер. М. Сазонова.

Я представил, что Мэри Миллер – моя Лесбия. Что я наклоняюсь над ней, поднимаю коротенькую юбочку и осыпаю спящую тысячью лобзаний.

После эпизода в саду я перестал ужинать в школе и спешил домой, надеясь, что наткнусь на Мэри, идущую с автобусной остановки. Примерно через неделю мои надежды оправдались. Я назвался и спросил, как ей идея попить чаю у меня дома.

– Идея классная, – сказала она.

Я на миг остолбенел, потом промямлил:

– Понимаешь, я совсем забыл про мистера Лиддела. Он у меня строгий. Старикану может не понравиться, что я кого-то пригласил… А твои родители, они как?..

– Да никак, – ответила Мэри. – Они раньше шести не появятся. Чай я заварю. Есть хочешь?

Есть хотелось ужасно. Ведь целую неделю без ужина.

– Ну, если это удобно…

Мэри привела меня к себе. Я втянул носом воздух. В нашем с мамой доме пахло свечным парафином и жареным беконом, у мистера Лиддела – табачным дымом и старой обивкой. В прихожей у Миллеров пахло мастикой для паркета, мясным соусом и еще чем-то очень приятным, напоминавшим летучий цветочный аромат.

Мы прошли на кухню. Мэри действовала уверенно и ловко; вмиг наполнила чайник, достала чашки, при этом не прекращая разговаривать со мной. Выглядела она и на шестнадцать, и на двадцать восемь. Личико гладкое как у ребенка, на скулах немного веснушек. Но тело вполне женское – не в смысле какой-то основательности или солидности, а в смысле окончательной завершенности форм. С Мэри было легко и весело. Незадолго до шести мне пришлось уйти, чтобы не нарваться на ее родителей.

Мэри познакомила меня со своими школьными подругами. И вскоре свершилось: я дождался, наконец, приглашения на вечеринку. Мама постаралась привить мне хорошие манеры, поэтому вел я себя более или менее прилично. В числе гостей были и мои одноклассники, явно не рассчитывавшие увидеть меня здесь; я делал вид, что ничего не замечаю, и сохранял невозмутимость. В конце концов, если что-то пойдет не так, с Мэри уж точно можно будет поболтать. Еще была ее подруга Пола Вуд, которой я уделил особое внимание, поскольку уже понимал, что девочки обожают, когда их о чем-то спрашивают, и с большим интересом выслушивают ответы. Непонятно только было, каким образом от дружеской симпатии и сочувствия перейти к чему-то более эротичному. Девчонки были еще слишком юны и простодушны – никакой дразнящей таинственности.

Как-то раз Пола попросила помочь ей с подготовкой вечеринки, родители наконец-то разрешили – уломала. Я пораньше вышел из дому, сел на велосипед и покатил по городу, объехал субботний скотный рынок, потом взобрался на крутой холм, а там уже вырвался на открытое пространство. Пола принадлежала другому, неведомому мне миру. Чтобы попасть в этот мир, надо было с пригородной улочки свернуть на подъездную дорожку, миновать живую изгородь из лавра и бирючины и уже за ней обнаружить солидный добротный дом, окруженный садом с качелями и беседками.

Двери дома Вудов были распахнуты; оттуда выбежали две собаки, посмотреть, кого это принесло; я заглянул в холл, окинул взглядом пустую лестницу на второй этаж. За спиной раздался хруст гравия, это подъехал грузовой фургончик. Изнутри дома донесся перезвон пустых стаканов, задребезжавших на подносах от вторжения грузовичка. Пола с сестрой расставляли свечи в стеклянные кувшинчики вдоль асфальтированной дорожки, которая на границе сада упиралась в кусты рододендронов. Мы соорудили тент на случай дождя: растянули брезент и закрепили деревянными колышками. Из кухни доносились звуки радио: мать Полы, подвязав волосы, жарила, парила, резала и раскладывала по блюдам квадратные и треугольные бутерброды.

Гости прибыли, когда начало смеркаться и на траву упали длинные тени от кипарисов. Долговязые нескладные парни, размахивая сигаретами, зажатыми между пальцев, разговаривали исключительно друг с другом; девочки восторгались платьями подружек. Граммофон поставили у открытого окна гостиной. Зазвучала танцевальная музыка. Пола с сестрой разносили кувшины с фруктовым коктейлем, в который для крепости плеснули похищенного из кладовки джина и вермута.

В окне второго этажа я заметил ее отца, который с опасливым любопытством наблюдал за происходящим. С его точки обзора, наверное, было хорошо видно, как обе группки, державшиеся поодаль друг от друга, вскоре распались и мальчики перемешались с девочками; все держали в руках стаканы. И вот уже на середину лужайки вышли пары и, забыв обо всем на свете, закружились в танце. Я уловил в глазах папаши зависть и почувствовал себя гигантом.

Когда гости стали потихоньку расходиться, Пола предложила мне прогуляться. Мы побрели по дорожке, освещенной догоравшими внутри стеклянных кувшинчиков свечами, миновали так и не пригодившийся тент и сели на заросшую травой кочку. Пола положила голову мне на плечо, как мне показалось, чисто дружески. Устал человек от хлопот и беготни, только и всего. Я коснулся рукой ее бедра, прикрытого легкой тканью, тоже по-свойски, выражая товарищеское сочувствие. Но тут Пола повернула голову так, чтобы я мог ее поцеловать. Ее язычок двигался робко, пальчики крепко стискивали рукав моей рубашки. Она вскочила и взяла меня за руку. Мы двинулись к расчищенному среди рододендронов пятачку, где никто не мог нас увидеть. Пола расстегнула ворот платья и положила мою ладонь себе на грудь. Потом подняла подол, она была без чулок. Тогда я еще не знал, какой нежной бывает кожа. Пораженный контрастом с собственными загрубевшими пальцами, я развернул руку и стал гладить раздвинутые бедра тыльной стороной ладоней. Вот тогда меня внезапно обожгло изнутри. После недолгой борьбы, нет, не со мной, а с собой, Пола отвела мою руку, поцеловала ее и прижала к моему телу.

К тому моменту, когда меня начали волновать темы более занимательные, чем гордость за удачный перевод или претензии к школьной столовке, дневнику исполнилось два года. Я боялся, что он попадется кому-нибудь на глаза, поэтому писал на греческом. Не на греческом языке, конечно, просто греческими буквами. Чтобы никто совсем уж не догадался, о ком идет речь, я позаимствовал имена из мифов. Мэри Миллер была у меня Еленой, старый мистер Лиддел – молодым возлюбленным Афродиты Анхисом, мама – Медеей, а отец, которого я упоминал крайне редко, – Одиссеем.

Для дневника я приспособил толстую, в четыреста страниц, тетрадь с голубой обложкой для домашних работ, забрав ее из школьного шкафа. Ежедневники с пропечатанными календарными числами мне не нравились, их пустые страницы словно бы укоряли за напрасно прожитые дни без записей. Зато тетрадь можно было использовать только по мере надобности. Писал я мелко и аккуратно, надеясь, что этой толстушки мне хватит на два десятка лет, и тщательно ее прятал, хотя даже если кто-то и захотел бы почитать мои записи, ни черта бы в них не понял.

На ночь я читал Библию. Сами по себе изложенные в ней истории были потрясающе интересными, но ореол святости, которым они были окутаны, мешал следить за интригой. Военачальники Иеффай, Иошуа[8] и Гедеон самозабвенно сражались за Иудею и Самарию, отвоевывая земли для израильтян.

В одиннадцать мне полагалось выключать свет, поэтому чтение продолжалось с фонариком под одеялом. У этих древних израильтян рождалось невероятное число незаурядных личностей, неиссякаемый кладезь героев и талантов. И патриархи, и пророки, и воины, и цари…

[8] В русской традиции Иисус Навин.

Весьма любопытно было наблюдать, как менялись отношения между правителями и высшими силами. Авраам и Моисей получали указания непосредственно от Яхве, и никакого недопонимания не возникало. Но более поздние властители, скажем Саул и Давид, полагались на придворных пророков: те выслушивали Господа, а потом передавали Его повеление правителю. Вот когда нарушилась линия прямой связи с главным боссом, дело пошло наперекосяк. Добросовестно изучив сведения о пророках более поздней эпохи, которых никогда не упоминают в церковных проповедях, я обнаружил, что все они – люди простые, но обладавшие нетривиальными способностями. Их преследовали голоса, вещавшие нечто непонятное и призывавшие немедленно исполнить их рекомендации. Ну разве не поразительно: первых пророков чтили, считали самыми влиятельными при дворе людьми, а малые (так их называют) превратились в изгоев, прозябавших на каменистых горных склонах. Мне было искренне жаль всех этих Иезекиилей и Амосов, едва не оглохших от навязчивых голосов, потому что новая поросль правителей пренебрегала их пророчествами.

Я так усердно изучал латынь и малых пророков, что не замечал зловещих перемен в Европе. Пока я вникал в особенности политики Наполеона Третьего, Адольф Гитлер драл в клочья Версальский мирный договор, итальянцы устроили кровавую мясорубку в Абиссинии[9], применив против аборигенов с копьями пулеметы и газ. Честно говоря, лысый Муссолини со своими напомаженными вояками выглядел несколько курьезно. Да и сам коротышка фюрер, при всей его напыщенности, почему-то казался вполне безобидным персонажем.

Экзамены я выдержал и смог поступить в старый шотландский университетский колледж, не слишком популярный. Обучение было бесплатным, и мне даже дали стипендию, скудную, но дали. На прощанье мистер Лиддел вручил мне Еврипида в кожаном переплете, которым наверняка очень дорожил. Еще он подарил мне пиджак, это было неожиданно, я ведь думал, что их у него всего два. Мама сказала, что ее сердце не выдержит расставания, но когда я, подхватив чемоданчик, зашагал в сторону станции, никак не выдала своих чувств. Пока я шел, немного вспотел: октябрьское солнце было еще жарким, а твидовый пиджак мистера Лиддела довольно плотным.

…Я закрыл старый дневник, словно захлопнул дверцу в прежнюю жизнь, в которой было полно надежд и шансов, порою странных и непредсказуемых. Голубая тетрадь вернула мне былое.

Свое письмо с вежливым отказом я положил на столик в холле еще двое суток назад, но оно там так и лежало: под кипой снова скопившегося почтового хлама я увидел краешек того самого конверта. Я вытащил его, бросил в мусорную корзину и тут же направился к письменному столу строчить новое послание. «Уважаемый доктор Перейра. Большое спасибо за письмо и за приглашение. Приеду с большим удовольствием…»

Ответ пришел через неделю, а еще через десять дней я сидел в самолете.

Авиарейсов в Тулон было мало, билеты дорогие. Я решил лететь в обход, до Марселя. Там нанял легковушку и добрался до мыса миниатюрного полуострова, который Перейра по-французски называл *presqu'ile.* На небольшом водном пространстве были пришвартованы прогулочные катера и водные такси. Я топтался около замызганной кафешки *«Cafe des Pins» с* красной маркизой над дверью, под которой и ждал своей очереди на такси.

Почему после экскурса в собственное прошлое я передумал и принял приглашение? Начнем с того, что мое желание погрузиться в давние события и перечитать свои подробные юношеские излияния было, скорее всего, вызвано потребностью выстроить эмоциональную защиту Последние исследования показывают, что наш мозг принимает решение раньше, чем мы успеваем это осознать; еще до того, как мы вынесем оценку той или иной ситуации, включаются

[9] Прежнее название Эфиопии.

соответствующие внутренние системы. Спонтанно отмахнувшись от собственной «свободной воли» (или от иллюзии таковой), я, выходит дело, наилучшим образом подтвердил свежее научное открытие.

Мне предстояла встреча с человеком, который отворит дверь в то прошлое, которое мне вообще неведомо: я нервничал, что какой-то незнакомец, возможно, знает обо мне больше, чем я сам.

Мне, конечно, хотелось удостовериться, что сложившиеся представления о себе и своей жизни соответствуют действительности. С другой стороны, история с Аннализой (а там чего только не было намешано: и ненасытная похоть, и страх, и подавление ненужных чувств, – в общем, адская смесь) говорила о том, что эти представления далеко не полны. Некоторые особенности моего характера – или, по крайней мере, поведения – не только провоцируют процессы саморазрушения, но и заставляют страдать других.

Мне было уже шестьдесят с лишним, верно. Но я чувствовал себя молодым и бодрым и был готов к переменам, к встрече с неизвестностью. Возможно, именно такой врач, как Перейра, ровесник моего отца, специалист по проблемам памяти, сумеет мне помочь.

Я потянулся за второй сигаретой, когда передо мной вдруг остановилась старая женщина, вся в черном. Внимательно меня осмотрела.

– *Vous êtes Dr Hendricks?*[10]

Говорила она с сильным местным акцентом. Это был средиземноморский диалект французского.

– *Oui.*

– *Venez*[11].

Это «идемте» незнакомка сопроводила взмахом руки. На своих старых кривых ногах семенила она очень резво. Мы спустились на каменную пристань, прошли мимо пассажирского парома, причаленного тут до утра, потом по мостику, к катеру с белым тентом. Катер был большой, человек на двенадцать, а нас – всего трое: третий стоял в рубке у штурвала. Он запустил мотор и направил катер в сторону бухты.

Моего французского хватило, чтобы спросить у старухи, куда мы плывем и сколько времени займет дорога, но из-за рева мотора ответа я не расслышал, и мне показалось, собеседницу это даже обрадовало. В конце концов я оставил попытки завести разговор и стал смотреть на белую от пены кильватерную струю за кормой. Через двадцать минут материковая суша исчезла из вида. Мы плыли вспять от заходящего солнца, вскоре оставив позади и похожий на полумесяц остров Паркероль.

[10] Вы доктор Хендрикс? *(фр.).*

[11] – Да.– Идемте *(фр.).*

Глава третья

Несмотря на качку, я в какой-то момент задремал. Разбудил меня удар борта о скалу Стояла уже глубокая темень.

Наш кормчий и старуха что-то азартно обсуждали. Мы находились в скалистой бухте. В *calanque*, как назвал ее кормчий. Он зажег факел в железном кольце, вбитом в скальную породу. К кольцу прикрепил швартовый канат. Море тут было почти спокойным, кормчий с легкостью выпрыгнул на берег и протянул руку сначала старухе, потом мне.

Затем мы куда-то карабкались, что при слабом неровном свете факела было не так уж просто, пока, наконец, не вышли на тропу. Здесь проводник нас покинул и отправился назад, к своему катеру, оставив меня с проводницей. Далее – вверх по склону холма, сквозь тьму и какие-то заросли. Пахло соснами, земля под ногами была густо усыпана длинными иглами. Наконец мы добрели до лестницы ступенек в сто, не меньше, долго взбирались и оказались на плоской площадке, вероятно, верхней части обрыва. Там стоял огромный дом – квадрат, еле видимый в лунном свете; иного освещения не было. Я разглядел очертания тропических кустов и деревьев, растущих вдоль крытой веранды.

Мы через черный ход вошли в темный коридор. Спутница попросила меня подождать, шагнула во мрак, тут же исчезнув, но вскоре снова материализовалась с газовой лампой в руке. Светя перед собой, она повела меня по голой, ничем не застеленной лестнице наверх, а там опять по длинному коридору, в конце которого мы свернули направо и двинулись к задней стороне дома. Снова лестница, на этот раз слабо освещенная, упиралась в дверь.

– А разве доктор Перейра не дома? – спросил я на своем скудном, но довольно внятном французском.

– Нет его. Вызвали на материк. Вернется завтра. Ванная комната внизу. Завтрак в восемь.

Я зажег свечу и, пожелав себе спокойной ночи, осмотрел спальню. Кровать железная, матрас тонкий, но плотный и упругий, определил я, усевшись. Чистые простыни, одно одеяло: несмотря на ночное время, было тепло. Над кроватью висело распятие. Фигура Спасителя была вырезана из мягкой древесины, колючки на терновом венце выглядели очень натурально, капли запекшейся крови – тоже. На противоположной стене – портрет какого-то праведника в рясе, созерцающего неведомые миры.

Я посильнее нажал на створки ставней, и они распахнулись, впуская цвирканье цикад. Луну затянуло облаками, но все равно я смог разглядеть широкие кроны пиний. Сквозь галдеж цикад можно было различить шорох и шепот прибоя в *calanque.* Гневные женские вопли в моей лондонской квартире отсюда казались невероятно далекими.

Острова Перейры я не нашел ни на одной из карт, добытых в зале аэропорта. Вероятно, он слишком мал и туристов туда не заманишь. Однако же дом у Перейры огромный. Но имеется ли тут водопровод, обслуга и элементарный комфорт? Словно бы в подтверждение моих опасений в далекой церкви колокол отбил очередной час.

Я попробовал читать при свечах, но, даже запалив вторую, не смог, – слишком темно. Я готов мириться с некоторыми издержками средневекового уклада. Я согласен на пивное брюшко, на негнущиеся коленки, на скоропостижное облысение… но без яркого света не почитаешь, а это уже печально.

Впрочем, расстроился я не сильно. Мне так часто приходилось ночевать в гостевых и съемных комнатах, что я привык к отсутствию комфорта. Любое новое пристанище выглядит в моих глазах давно знакомым.

Проснулся я оттого, что на простыню упал треугольник солнечного света. Было почти семь часов, и я отправился вниз, в ванную, чувствуя себя вполне отдохнувшим. Ванная была

оборудована со старинным шиком, видимо, в очень давние времена на обустройство этого дома истратили несметные деньги. Я брился непривычно долго и тщательно, потом полностью распаковал чемодан, надо ведь было чем-то себя занять. В восемь спустился на один лестничный пролет и свернул в коридор. Нашел центральную лестницу и вышел в выложенный кафельной плиткой холл. Чем-то он напоминал вестибюль курортной водолечебницы, где можно наткнуться и на туберкулезника, и на даму с болонкой. Ориентируясь на запах кофе, я забрел в комнату с небольшим столиком, накрытом для одной персоны.

Почти сразу вошла старуха с подносом, на котором лежали нарезанный багет, яйцо, джем и стояла глазурованная глиняная кружка. Беседовать со мной старуха не захотела, велела не отвлекаться от еды. Кофе оказался не только ароматным, но и очень крепким. Еще до кофе я быстро умял свой завтрак, закурил сигарету и вышел на веранду. При свете солнца увидел, кроме рослых деревьев и кустов, небольшие кустики, укорененные в грунте и в терракотовых вазонах. Трава на газоне выглядела плотной и яркой, как в Англии, но не такой сочной, травинки казались тщедушней и грубее.

– Пока гуляйте где хотите, – сказала подошедшая старушенция. – Звонил доктор Перейра, он приедет к обеду.

– А что-то вроде центра у вас тут есть? – спросил я. – Мне необходимо кое-что купить.

– Есть порт, но он очень далеко. Можете оставить список в холле на столе. Садовник потом привезет все на машине.

Хорошо бы джину, пару бутылок. Сигареты, две пачки. Еще кампари или дюбонне, и апельсинчик к ним. Ну и несколько лимонов. Кило фисташек или кешью…

Оставлять в холле список что-то расхотелось.

– А где ближайший пляж? Там можно поплавать?

– Нет у нас пляжей, только несколько *calanques.* В них плавать опасно. Этот остров не для туристов.

– Можно мне взять машину, съездить в порт?

– Машина пока занята.

– Тогда… Тогда я поброжу по округе.

– Дело ваше.

– Ну а книги в доме есть?

– Да. Книг тут прорва. Библиотека в конце дома, последнее окно.

– Спасибо.

Я улыбнулся, надеясь на ответную улыбку, хотя бы из вежливости, но увидел в глазах старухи только настороженность и презрение; она зашаркала прочь. Мне стало обидно. Похоже, я для нее не гость хозяина, а подозрительный тип, которого лучше бы не оставлять без присмотра.

Однако глупо было расстраиваться из-за подобных пустяков в такой погожий день да еще в окружении первозданной красоты, которой в нашем мире почти не осталось. Я спустился по подъездной дорожке (ярдов пятьдесят) к дороге. Конечно, сразу возникло желание добраться до самой высокой точки острова, чтобы понять, каковы его рельеф и размеры. Было только девять. Часа три точно можно было потратить на прогулку.

В середине сентября воздух был уже подернут печальной дымкой осени, но припекало как в августовский, еще не сильно укоротившийся день. Я даже немного вспотел. До верха я вроде бы добрался, а там вскарабкался на огромный камень и приступил к осмотру панорамы. Площадь острова, прикинул я, четыре мили на три, правда, из-за обрывистых берегов мог сильно ошибиться. Почти повсеместно взгляд упирался в густую до черноты синеву моря. На северной стороне я высмотрел россыпь беленых домиков – поселок, наверное. С трудом верилось, что упомянутый старухой порт и есть здешний город. Но может, и на склонах холма имеется городская застройка?

Мне хотелось поскорее увидеть хозяина, внутренне я уже был готов к встрече с ним. Начал спускаться и вдруг услышал женский голос. Посмотрел по сторонам, никого. Наверное, ветер, подумал я. Или чайка.

Меньше чем через час я был у владений Перейры. Решив, что глупо просто так ждать, прошел по газону к лестнице, по которой мы взбирались от *calanque.* Спускаться оказалось не намного легче. Особенно по тропинке, которую обступали колючие кусты ежевики, а из земли выпирали узловатые корни. Добравшись до плоской площадки у моря, где мы вчера пришвартовались, я перевел дух. Сел и стал смотреть вниз, на заточенную в скалы воду, бившуюся о каменные глыбы.

– *Bonjour,* – произнес женский голос, и теперь я увидел ту, кому он принадлежал, – черноволосую девушку лет двадцати пяти. На ней было цветастое платье в деревенском стиле, на руке висела плетеная корзина, а в руке она держала непонятный инструмент, напоминающий разводной гаечный ключ, только поуже и, вероятно, из более легкого металла.

Увидев, куда я смотрю, девушка улыбнулась и сказала:

– *Pour les oursins. Cette calanque est la meilleure.*

Я понял, что именно эта *calanque* лучше всего приспособлена для ловли, но вот кого? Кто такие *oursins*? О ком речь, я догадался совсем скоро.

Девушка надела маску, скинула кожаные сандалики на тонкой подошве и сдернула платье. Под платьем была только она сама. Я с виноватым смущением развел руками, стараясь смотреть исключительно на ее лицо. Она сделала длинный нырок со скалы, развернулась и поплыла вспять, к берегу, где, набрав воздуха, погрузилась с головой. Почти через минуту над водой показалась стеклянная маска, а потом и голова, напоминающая голову выдры. В корзине, которую девушка теперь держала над водой, топорщилось несколько морских ежей. *Oursins*…

Она улыбнулась и снова исчезла среди волн, влажно блеснув белыми ягодицами. Каждое погружение длилось чуть дольше предыдущего: легкие у нее работали отлично. Девушка проделывала все это со строгой важностью, однако ей нравилось, что за ней наблюдают. Ей хотелось не то чтобы пококетничать, но покрасоваться. Было в этом трогательное простодушие. Меня всегда восхищали те, кто хорошо что-то делает, не важно, что именно. Я словно завороженный могу смотреть, как мчится по горному склону лыжник. И даже как слесарь чинит стиральную машину.

Через полчаса корзина была полна, и девушка гордо крикнула: *«Voila!»*

Когда она стала выбираться на сушу, я отвел взгляд. Она подошла и села рядом. Полотенца у нее с собой не было, но скала была гладкой и солнце хорошо пригревало. Девушка достала из корзины кухонный ножик и разрезала одного ежа. Протянула мне. Я думал, он соленый и прохладный, как устрица, но его внутренности оказались теплыми и сладковатыми. От неожиданности я их выплюнул.

Она вскрыла второго ежа и съела его сама.

– Но это ведь вкусно, – сказала она.

– А можно мне еще попробовать?

Теперь я уже знал, чего ждать, и вполне насладился тонким вкусом нежной ежатины.

– Откуда вы приехали? – спросила девушка.

– Из Лондона. В гости к доктору Перейре. Его дом тут наверху.

Девушка промолчала.

– Ты его знаешь?

Она отвернулась и стала смотреть на море, а я рассказал ей (как мог на своем примитивном французском), почему я тут, на ее острове.

Лакомиться морскими ежами, сидя на скале рядом с голой женщиной, мне еще не приходилось. Это было настолько вне рамок привычной жизни, что я позволил себе разоткровенничаться.

– Вам надо побывать в порту, – сказала она.

– Побываю. Как только удастся одолжить машину. Угощу тебя в кафе стаканчиком вина.

– Я не здесь живу.

– А где же?

Она махнула рукой назад.

– В одном из тех белых домов?

– Вы можете добраться до порта на лодке.

– У меня нет лодки.

– И у доктора Перейры нет?

– Про доктора не знаю. Сюда мы приплыли на чем-то вроде водного такси. Вместе с пожилой женщиной. Его экономка. Ты с ней знакома?

Девушка отвела глаза.

– Кстати, как тебя зовут?

– Селин.

– Ты местная?

– Нет. Я родилась на Маврикии.

– А живешь на этом островке. Почему?

Она поднялась. Я отвернулся, выжидая, пока она наденет платье и завяжет шнурки на сандалиях. Мелькнуло опасение, что мое любопытство оказалось слишком назойливым. Девушка начала карабкаться на скалы, в сторону от дома Перейры.

Примерно на полпути она обернулась и помахала мне левой рукой; на локте правой висела корзина.

С этими черными развевающимися волосами она походила на крестьянку с картины Милле.

Пора было проверить, не приехал ли хозяин. На веранде меня уже подстерегала старуха.

– В библиотеку, пожалуйста. Доктор Перейра ждет вас.

Было без десяти час. Пусть еще немного подождет, подумал я и направился в уборную, расположенную под главной лестницей. Чугунный бачок, стульчак из красного дерева. Я посмотрелся в зеркало. С каждым годом я все больше становлюсь похож на отца, так мне казалось. Черты, все явственней проступавшие на моем лице, уж точно принадлежали не маме.

Из холла наискосок я прошел к библиотеке. Доктор Перейра был очень стар и лыс. Коричневая плешь блестела как спелый каштан. Лицо, изрезанное глубокими морщинами, проволочные очки, серый костюм, висящий как на вешалке. Несмотря на худобу, дряхлости в старце не было, и я не уловил никаких тайных умыслов, которые заранее успел ему приписать.

– Как хорошо, что вы приехали, доктор Хендрикс. Не думал, что соберетесь.

– Я и сам не думал. Но вы меня заинтриговали.

Рукопожатие было крепким, тоже совсем не старческим.

– Присаживайтесь. Выпьете что-нибудь перед приемом пищи?

Я сел в кресло перед камином, жесткое, с резными подлокотниками. Французское, одним словом. Вошла старуха, принесла поднос с двумя стаканами.

– Полагаю, с Полеттой вы уже знакомы.

Полетта, так и не удостоив меня улыбки, протянула стакан с напитком, в котором плавали кубики льда и ломтик апельсина; я различил вкус водки, грейпфрута и чего-то сладкого.

Расспросив, как я доехал, Перейра повел меня в комнату, где я завтракал.

Полетта принесла запеченных на гриле красных султанок и зеленый салат. Пока она накрывала, Перейра непринужденно болтал о всяких пустяках. По-английски он говорил без акцента, во всяком случае я такового не расслышал. У него была очень смуглая кожа, но загар это или от природы, сказать было трудно.

– Вина хотите? Из здешнего винограда. Его нужно пить очень холодным.

Второе блюдо тоже было местного происхождения. Два круга козьего сыра, один белый, другой серый, в корочке из золы. Что ж, коровам на этом скалистом острове было бы неуютно, вот о чем я подумал, снова подставляя тарелку.

– Книгу вашу я прочел с громадным интересом, – вдруг сказал Перейра. – В свое время она наверняка произвела фурор.

Мне стало не по себе, так на меня обычно действует почти любое упоминание о книге.

– Просто тема совпала с веяниями эпохи, – сказал я. – Это ведь были шестидесятые. Время перемен. Долой все барьеры и прочую рутину. Тогда это казалось очень важным. Вы же невропатолог. Так ведь?

– Так. Гериатрические проблемы. Деменция, потеря памяти и тому подобное.

– А где вы практиковали?

– Долгое время в Англии. В Лондоне и Манчестере. Потом в Париже. А последним местом моей работы был Марсель.

– Вы англичанин?

– У меня двойное гражданство, британское и французское. Мать англичанка, отец испанец. А родился я в Отёе, это парижский пригород. Полетта сказала, что вы хорошо говорите по-французски.

– На самом деле так себе. На уровне школьной программы.

– Уверен, что вы много путешествовали.

– Мой батальон где только не воевал. После войны перемещений было гораздо меньше. В основном симпозиумы, конференции. Индия, Шри-Ланка, Ближний и Средний Восток. Год работал в Пуатье, в исследовательском центре. Ну и в Париже, время от времени.

Большего говорить о себе, пожалуй, не стоило. Кое-какие факты из моей биографии имелись на суперобложке пресловутой книги. Там и еще в медицинских регистрационных реестрах он мог вычитать, когда, где и на какой должности я работал. Это все.

Перейра откинулся на спинку стула и бросил салфетку на полированную столешницу

– Существенное внимание я уделял проблемам памяти. Для гериатрической медицины это крайне важная вещь, сами понимаете.

– Чрезвычайно важная.

– У стариков погружение в глубину, в текстуру пережитого ранее, – это своего рода компенсация, возмещение утраченной насыщенности жизни. Вернемся вспять. Когда ребенок впервые пытается плавать в море, ему очень страшно. Море холодное, море глубокое, в нем можно утонуть. Человечку попадает в рот вода. Он выплевывает ее, он плачет и кричит. К семнадцати годам подобные страхи уже преодолены. Примерно в этом возрасте он получает от моря иные впечатления, гораздо более яркие, скажем, купание в огромных волнах или в ночной фосфоресцирующей воде, и это уже не страх, а абсолютный восторг. Чуть позже человек начинает различать, что ему приятнее: кататься на волнах или наблюдать за цветными рыбками в коралловых рифах. Эти ощущения он потом испытывает снова, когда учит плавать своих детей. Но разница в том, что у отца собственные впечатления отходят на второй план, он полностью сосредоточен на детях: как им страшно и зябко в море. На долгое время человек становится как бы зрителем, лицом не главным, а сопереживающим. Однако в шестьдесят лет, или около того, происходит воссоединение с самим собой. Теперь при каждом прыжке на гребень волны, при каждом погружении с головой в холодную воду оживают в памяти ощущения от прежних, сотни раз повторенных прыжков и нырков, это дает возможность почувствовать забытую полноту бытия. Жалящий холодок брызг… скрип песка под ногами… Старик снова становится ребенком. У него снова есть папа и мама. Градус восторгов теперь гораздо ниже, но душу согревает глубинное удовлетворение. Плывя размеренным брассом вдоль эгейского пляжа, он ощущает в эти минуты, как прыгал в волны Атлантики, как игриво обдавал брызгами подружек, как плыл наперегонки с приятелями до буйка и даже как малым ребенком забирался

на плечи к отцу. Все предыдущие эпизоды с плаваньем воспринимаются словно грани одного переживания, повторяющегося для субъекта здесь и сейчас.

– Может, грани, а может, предвестники финала аттракциона. Когда плавать уже не придется.

Перейра улыбнулся:

– Я не сомневался, что вы поймете.

Чего уж тут было не понять. Его краткий монолог был похож на заученный наизусть, и мне показалось, что произносил он его несколько через силу, по необходимости. Когда становишься старше, жизнь делается пресной и вялой, иссякает азарт. Но, конечно, можно себя уговаривать, что она не тускнеет, а, напротив, делается ярче, как коралловый риф, который с годами разрастается и обретает все больше экзотических красот.

Впрочем, подтрунивать над стариком было не совсем честно. Я и сам часто испытывал ровно те ощущения, о которых говорил Перейра, и не воспринимал их как самообман. Действительно настоянная на опыте удовлетворенность – это справедливая компенсация утраты бурных молодых восторгов. Впечатления юности пишутся жирным шрифтом на девственно-чистой странице, и запись получается ясной и четкой. А в пожилом возрасте впечатления фиксируются в лучшем случае на палимпсесте, с поверхности которого хоть и соскоблили прежние пометки, но они проступают сквозь пергамент, они никуда не делись.

Но моя беда в том и состояла, что я больше не был уверен в достоверности своего прежнего жизненного опыта. Я бы и рад вспомнить свои школы, учителей, университет, однако связь с ними была нарушена, ничто не проглядывало сквозь новые наслоения, все стерлось бесследно. Используя пляжную аналогию Перейры, я представлял собой не опытного шестидесятилетнего пловца, который хранит в подкорке все свои прежние бесчисленные заплывы, а глупого карапуза, пока не знающего даже того, что вода в море соленая.

– Карьера врача частенько зависит от определенного стечения обстоятельств, – заметил Перейра, – в вашем случае, кажется, так и было.

– В какой-то мере да.

– А у меня вышло так, что на психиатрию я переключился довольно поздно. Как и вы, я мечтал совершить великое открытие. Просто лечить больного или поддерживать его в приемлемом состоянии мне было мало. Я мечтал отыскать свою разновидность философского камня.

Я узнал эту фразу. Цитата из моего опуса «Немногие избранные». Она меня покоробила.

– А можно взглянуть на те самые фотографии? – спросил я. – С моим отцом?

– Разумеется, – сказал Перейра, поднимаясь из-за стола. – Вы много знаете про фронтовую жизнь отца?

– Почти ничего. Мама про это не рассказывала. Там, где мы жили, почти в каждой семье были убитые. Отцы, братья, сыновья, женихи… Но у взрослых существовал негласный уговор: никогда не вспоминать вслух погибших. Возможно, это было неправильно.

– Вы и сами побывали на фронте. Об этом есть пара упоминаний в вашей книге, вскользь. Может, расскажете мне об этом более подробно?

– Хорошо, как-нибудь обязательно.

– Сегодня же вечером достану старые бумаги и фотографии, поищу то, что нужно, – пообещал Перейра. – А сейчас отдыхайте, наслаждайтесь нашими красотами. Если угодно наведаться в порт, моя машина к вашим услугам. Вообще-то езда на машинах у нас запрещена, исключение сделано только для всяких аварийных служб, ну и для тех, кто обзавелся автомобилем до принятия запрета. Таких, как я, счастливчиков здесь совсем немного. Но, возможно, вы предпочтете пройтись пешком, ходу до порта меньше часа. Давайте встретимся в библиотеке примерно в половине восьмого. Договорились?

Я предпочел пеший ход. Любой врач, вне зависимости от специализации, выбрал бы променад как более полезный. К порту вела единственная, мощенная булыжником дорога, сбиться

с которой было невозможно. Я спустился в город и стал искать небольшой магазинчик. Живя во Франции, я часто в таких отоваривался. Покупал мыло, орешки, открывалки для бутылок и сувенирные бутылочки со светлым виски под каким-нибудь эффектным названием, например «Роса жизни».

В порту я увидел с дюжину яхт и длинную пристань, но никаких желающих отплыть пассажиров. Впереди, прямо у дороги, была гостиница, запертая, и парочка баров. Немного в стороне я углядел еще один, вроде бы поопрятнее, где и расположился. Чуть поодаль носились туда-сюда на легких мопедах подростки без шлемов. Жужжанием двухтактных двигателей они лишь усиливали послеобеденную дремотную *ennui*[12] маленького порта. Вынырнув из нутра бара, ко мне наконец-то подошла, пришаркивая шлепками, официантка. Я попросил пива; когда она ушла, достал книгу. Небольшой романчик, написанный бойко, но без малейших промельков таланта. Романчик пользовался успехом, и я почти не сомневался, что автор и дальше будет тратить жизнь на подобную ерунду, считая это своим призванием. Не устаю удивляться тому, насколько часто выбор профессии диктуется случайностью. Многие прославленные писатели (чуть не половина) не стали бы изводить бумагу и чернила, если бы в юности им подвернулось иное, более надежное и перспективное занятие.

А как начинал я… Молодым парнем, еще не помышлявшим о том, что в эру викторианцев называлось «врачеванием умалишенных» (и пока не решившим, кем ему стать – хирургом или терапевтом), я получил направление на стажировку в Ланкаширский сумасшедший дом. Парень, между прочим, был ветераном, много чего хлебнувшим: итальянская кампания, окопы, осколочные ранения. Но увиденное в дурдоме оказалось куда кошмарнее. Построенный из благих побуждений в 1848, по-моему, году, за две сотни лет этот дом скорби пережил единственную перемену – из него окончательно испарился дух надежды. Когда-то мечтатели и мечтательницы в накрахмаленных белых халатах (викторианские лекари и сестры милосердия) свозили сюда полоумных, найденных в городских трущобах и в затерянных средь холмов деревушек. Они надеялись их исцелить. Теперь те же самые палаты, которые и красят-то раз в сто лет, стали пристанищем для несчастных, чья болезнь уже точно не поддается излечению.

В первую неделю меня определили к хроникам из мужского отделения – для новичка настоящее боевое крещение. Если не раскиснешь, не утратишь присутствия духа, потом тебя допустят к тем, кому можно попытаться помочь. Наставником, помогавшим мне освоиться в заведении, был Пол Гардинер. Пол хотел стать военным, но в солдаты его не взяли из-за плоскостопия, вот его и занесло в медицину.

…Множество запоров на дверях, лязганье ключа в замке – их там до черта, дверей и замков. Мы оказались в безлюдном помещении и стали ждать, когда нас впустит надзиратель с той стороны. Коридор. В конце его Гардинер открыл ключом дверь «комнаты отдыха». Не ожидал я, что некоторые пациенты будут совсем голыми. Два-три человека бродили по палате от стенки к стенке и что-то говорили, но не другим, а самим себе. Но большинство сидели в креслах, расставленных полукругом в конце комнаты, и сосредоточенно молчали. Друг с другом они не разговаривали, ни книг в руках, ни радиоприемников, ничего такого, что могло бы развлечь. Две палатные медсестры в коротких белых халатах время от времени прохаживались мимо кресел.

– Сущий бедлам, верно? – вяло констатировал Гардинер. – Посмотри, какие вон у того гениталии. Как у жеребца. Ну и шланг. Почти у всех у них габариты за пределами нормы. Думаю, это достойно специального исследования. Выявить взаимосвязи. Влияет ли фактор наследственности.

– И как вы их лечите?

[12] Скуку *(фр.)*.

– Инсулиновая кома. Иногда назначаем лоботомию, вызываем хирурга из местной больницы, он выкраивает время в своем расписании. Впрочем, теперь это вчерашний день. Нынче в моде электросудорожная терапия, чаще назначаем ее. Электрошок. Знаешь, что это за штука?

– Да. Воздействие током вызывает спазмы, иногда это оказывает благотворное действие.

– Ну да. Иногда и коровы летают. Но тут, как говорится, начальству виднее. Наше дело маленькое: следим, чтобы больные не покалечились сами и не покалечили других. Каждый квартал власти требуют от нас отчет с точными цифрами.

Спустя несколько месяцев меня поставили на ночное дежурство. Ты должен, если что стрясется, принять меры, но вообще времени полно, и можно привести в порядок бумаги. Пост дежурного врача находится в центральном коридоре – квадратная будка, застекленная спереди. В этом полуосвещенном закутке стоял металлический шкаф, в котором хранились истории болезней. И висела доска со списком сотрудников, кто есть кто и где кого искать. При слабом свете настольной лампы я вписывал в карты рассказы и жалобы пациентов. Формулировки должны были быть четкими, чтобы их мог понять любой врач, читая историю болезни. Примерно через месяц я завел собственный дневник, где отмечал то, что казалось интересным именно мне. Другим мои записи, возможно, показались бы бредовыми, но для меня они были хорошим подспорьем, помогали выявить закономерности в модели поведения, в мотивациях этих людей. Ну, например, вот такая запись: «Его рассказы заставляют вспомнить Кафку. В слуховых галлюцинациях Голос чаще всего звучит как голос рассказчика в романах Джозефа Конрада. Но откуда это могло взяться в его голове? Ведь он, судя по всему, книги читает редко…»

Ну так вот, в то первое ночное дежурство, записав все, что требовалось, я стал вспоминать медсестричку, на которую наткнулся днем на парковке. Она шла к лесной школе «Дом кедра», в отделение для совсем юных пациенток. У сестрички были черные нейлоновые чулки, тонкие лодыжки и слегка растрепанные каштановые волосы, что выглядело многообещающе. Раздумья о лодыжках были прерваны стуком в дверь; стучал наш санитар Боб.

– Доктор, Реджи разбушевался. Не пойми с чего. Пришлось перевести его в бокс. Но, наверное, без укола не обойтись.

Одиночная палата всегда была наготове, там две двери, обе на запоре. Реджи находился в клинике почти двадцать лет, ему уже стукнуло сорок с лишним.

Он кричал от страха и рвал на себе рубаху. Такое случалось, когда навязчивые мысли становились непереносимыми. Ему казалось, что его одежду кто-то отравил, она пропитана ядом, как туника Геракла. Вот такая заморочка.

Под истошные вопли и брань мы с Бобом схватили его за запястья, чтобы бедняга прекратил себя терзать. Реджи сообщил, что по стенам скачут звери, один другого свирепее. Мне стало интересно, что будет, если вместо успокаивающего укола я попробую наладить контакт, подыгрывая бредовым фантазиям.

Поймав взгляд вытаращенных от ужаса глаз (запястья мы продолжали удерживать), я спросил:

– Кто такой Пэдди, где ты с ним познакомился? И когда это ты был в Болтоне?

Подобная методика не прописана в инструкциях, это было нечто диковинное и даже дикое. Но почему не попытаться, если ничего больше не действует? А вдруг сработает? Примерно через полчаса я отпустил Боба, поскольку Реджи немного успокоился и больше не представлял опасности ни для самого себя, ни для меня.

Я продолжал его убалтывать в рамках, скажем так, заявленной темы. Начали мы с выяснения, что за личность этот самый Пэдди, но потом, слово за слово, вышли на другие поводы для отчаянья, неожиданные и неодолимые. Слушая исступленные выкрики Реджи, я словно бы читал нескончаемую книгу со множеством беспорядочных отступлений, не относящихся к сюжету. В монологе Реджи доля рационального была примерно такой же, как в каком-нибудь

романе Генри Джеймса. Но в том-то и штука, что сам Реджи не видел во всем этом неукротимом беспорядочном нагромождении никаких логических огрехов. Это беднягу и мучило: его аргументы (а значит и опасения) не поддавались опровержению. То есть действительно полная безысходность.

Несколько часов мы с ним блуждали по болезненно-ярким ландшафтам видений; я почувствовал, что надо напрячь все силы, иначе недолго и самому съехать с катушек. От его дыхания веяло психотропными препаратами и страхом. И вредничал он кошмарно, хулиганил, что типично для больного в моменты обострения (это я уже успел усвоить). Огромное тело все еще хранило повадки вольного бродяжничества. Он не называл меня по имени, он даже ко мне не обращался. Разговор Реджи вел не со мной, а с кем-то, кто был для него сейчас гораздо важнее и реальнее.

Наконец приступ удалось полностью купировать. Возможно, обыкновенная усталость вызывает в мозгу определенную химическую реакцию, и этого достаточно, чтобы разомкнуть порочную цепь…

Но хотелось думать, что его успокоило то, что кто-то был рядом. Иными словами, помогла проявленная мной изобретательная заботливость.

Из одиночной клетушки я вышел в час ночи, наполненный шприц так и лежал в кармане, не пригодившись. Я оставил Реджи под присмотром, дал ему снотворное и подождал, пока он уляжется. Трудно было противиться мысли, что ему помогла моя «методика». Глупости, одергивал я себя, просто случайно повезло. Но тщеславие продолжало нашептывать, какой я молодец.

К ужину я переоделся в льняной костюм, решив, что это оптимальный вариант: дипломат на неофициальном рауте. Рубашку выбрал белую, галстук фиолетовый, давно я ждал повода его надеть. Всегда любил фиолетовый цвет. Был у меня в детстве набор красок, и я рисовал для мамы неуклюжие картинки, исключительно в приглушенных сиренево-лиловых тонах. Однажды в начале лета я решил заработать карманных денег и подрядился пропалывать по субботам клумбы в одном справном деревенском доме, самом большом и высоком. Там росло много роз; горячие и теплые солнечные краски – красные, кремовые, оранжевые, желтые – пронзали все тело, отзываясь в нем болью. Я попытался выбрать, какие мне нравятся больше, но сам содрогнулся от подобного святотатства: ни одну розу нельзя было обидеть…

В портовом магазинчике я купил бутылку джина и несколько лимонов. На прикроватном столике нашелся стакан. Еще бы льда добавить. Но и так было вполне приемлемо. Толкнув ставни, я распахнул окно. Потом сунул под спину подушки, сел.

Сколько раз я проделывал все это? В скольких чужеземных приютах пировал в одиночку? Сколько опустошенных бутылок наберется на моем веку? Когда я умру, кто-то порадуется и этим моим рекордам. Занимательная статистика. Объемы выпитого. Вино можно вынести в отдельные подпункты, по регионам: от департамента Рона – 20 тысяч бутылок, от Бордо – 18 тысяч…

Дневник я прихватил с собой на остров, скорее всего, из желания подстраховаться. Сунул в портфель, а не в чемодан, багаж ведь иногда теряется. Потягивая джин, я открыл страницы, посвященные первым дням в университете, где мне предстояло изучать медицину и попытаться стать врачом. Я опустил дневник на колени и закрыл глаза…

Наш колледж располагался в укромном уголке за длинным забором; на ворота я наткнулся, совсем не там, где ожидал их увидеть, нырнул внутрь и очутился на нужной территории. Справа от меня высилось восхитительно древнее строение. Человек в котелке, сверившись с листком на планшете, нашел мою фамилию и выдал ключ. И потащился я со своим тяжеленным чемоданом по мощеной дорожке к арке, гадая, как мне теперь выкручиваться из этого жизненного переплета. Ведь кто я? Обычный деревенский парень. Гонял бы на лошадях, чистил бы канавы. Случилось так, что в деревенской школе я оказался самым сообрази-

тельным, неплохо считал, старательно зубрил и сам не понял, как шаг за шагом, практически машинально, добрался до этой обители наук. Это не было осознанным выбором, просто мне не хотелось огорчать людей, желавших сотворить из меня нечто неординарное.

В чемодане лежали все мои книжки, их надлежало непременно проштудировать. Я прошел во второй квадратный двор с яркими цветочными клумбами и со свисающими отовсюду гроздьями глициний, за этим двором был небольшой закрытый дворик, вымощенный плиткой, и уже там я увидел лестницу, над которой висела табличка с буквой «Т». Мне выделили обиталище на последнем (кто бы сомневался!) этаже, с окнами на обе стороны. Окно миниатюрной гостиной располагалось со стороны фасада и смотрело на дворик, а из спальни открывался вид на реку, над которой склонилась серовато-зеленая ива. Я увидел двух парней с удочками, надеявшихся что-то поймать, – явных дилетантов. В памяти промелькнула строчка Теннисона из «Волшебницы Шалотт»: «Седеют ивы над водой…»[13]. Я извлек из чемодана свои вещи – их было совсем мало – и переложил в комод. Книгам хватило меньше половины полки. Квадратный письменный стол словно бы подражал формой квадрату уютного дворика, умостившегося среди стен, щедро обвитых плющом. Эта основательность, эти строгие линии так и призывали к сосредоточению и погружению в науки. Атмосфера в спальне была совсем иной. Жесткое изголовье, одноцветное покрывало с рельефным рисунком, вот и весь уют. Когда я сел на кровать, пружины устало скрипнули. Все это старье как будто привезли из пансиона, который держали когда-то мои дед и бабка. Впрочем, если снять с кресла в гостиной подушку и приладить к спинке кровати, то можно будет с комфортом слушать шелест узеньких ивовых листьев, а если напрячь слух, то и лепет бегущей воды. Надо только распахнуть окно.

Пристроив подушку, я сел читать. Через пару страниц в дверь громко постучали, я вскочил и метнулся назад в гостиную, к двери.

– Привет. Я Норман Гроут. Математика, второй курс. Тебе досталась хорошая конурка.

Мы пожали друг другу руки. Опрятностью посетитель не страдал: взлохмаченные черные кудри, свитер в пятнах.

– Зайти-то можно?

– Да-да, конечно. Роберт Хендрикс. Медицина.

– Чай-то будем пить?

– Ноу меня нет…

– Тут все есть. Вот, смотри.

Он открыл дверь того, что я считал шкафом, и за ней открылась небольшая кухня с раковиной и газовой плиткой. В малютке буфете стояло несколько старых чашек с гербом колледжа и полная жестянка с чаем.

– Грей чайник, – сказал Норман, – а я спущусь к себе за молоком.

Норман Гроут тут же прочел мне лекцию о том, как вести себя, чтобы не нарваться на неприятности.

– Смотри, не брякни что-нибудь про шотландцев. Лучше их не трогать, включая пращуров начиная с короля Роберта Первого, Уильяма Уоллеса и прочих чокнутых патриотов. Мечтали ребята удержаться во вражеской стране, вот и цеплялись зубами и когтями.

– Но система образования у шотландцев вроде бы нормальная. Намного лучше нашей.

– Вне всяких сомнений. У них на уме не только драки, есть и мирные обычаи. Ночь Бёрнса[14], само собой. Выходные с Вальтером Скоттом в окрестностях замка Абботсфорд. Народные гуляния в честь битвы при Бэннокбёрне[15]. Кстати, можешь взять напрокат килт. На

[13] Пер. К. Бальмонта.

[14] В Шотландии так называют 25 января – день рождения Роберта Бёрнса.

[15] 24 июня – День независимости Шотландии. В этот день в 1314 г. шотландский король Роберт Брюс разбил армию английского короля Эдуарда II.

Тринити-стрит молодцы из клана Драммондов подберут тебе какой-нибудь нейтральный тартан, не боевого окраса. Но помни: в пабах и в столовой лучше высказываться осторожно.

Враждебности к шотландцам я не испытывал, по пабам ходить не собирался, о чем и сказал Норману. Вероятно, он подумал, что я рохля и зануда.

Придя в столовую, я словно бы попал на съемки голливудского фильма о Тюдорах. Еле успевал увернуться от брошенных куриных ножек, которые летали между старинными канделябрами со свечами, в рискованной близости от затылков первокурсников, их очков и студенческих тужурок, а те лишь робко посматривали на стоявший на возвышении стол, за которым когда-то трапезничали короли.

Гроут сказал, что после ужина мы отправимся в паб «Черный лев», знаменитый стаканами с гравировкой и тем, что туда захаживают все потенциальные премьер-министры.

К тому моменту мой питейный опыт был весьма скромным: бутылочка сидра в субботу утром или фруктовый десерт с ликером на девчоночьей вечеринке, если вдруг пригласят.

Еще двое парней присоединились к нам у ворот, и в самом пабе уже сидели несколько наших студентов. Пиво из наклонных бочек лилось прямо в огромные кружки, которые с глухим стуком ставили на барную стойку. Денег разливальщику никто не совал, я сообразил, что расчет после, за все скопом. Со страхом глянул на огромную кружку, не представляя, как смогу влить в себя столько. За ужином я выпил стакан воды, и пить совсем не хотелось.

– Ну, Роберт, давай сразу до дна, – сказал бородатый малый. Ему было уже под тридцать, но он тоже был первокурсником и тоже с медицинского. Я послушно вылакал кружку и не успел ее поставить, как передо мной поставили вторую.

Через несколько часов я поднялся на крыльцо, над которым была буква «Т», потом в замедленном темпе добрался до своей конурки, совершенно довольный собой и своей судьбой. Меня пошатывало, но нажать на выключатель все-таки удалось, и зажегся свет. Я с гордостью осмотрел свое новое жилище. Как выяснилось, я совсем не рохля и, возможно, очень скоро стану своим в кругу бывалых студентов, глядишь, и ужинать буду за столом на постаменте, под щитами с геральдическими зверями и пернатыми.

С завтрашнего дня начинались лекции, первая вроде бы в девять. Потом занятие в анатомичке. Ничего, как-нибудь справлюсь. Парень я деревенский, крови не боюсь. У меня твердая рука и зоркий глаз. Я на правильном пути, медицина мое призвание…

И вдруг мой зоркий глаз заметил нечто странное: на кресле лежала женская сумка. Ее точно раньше не было. Но чья? Вряд ли Норман Гроут ходит с такой. Я постучался в дверь собственной спальни.

– Роберт? – отозвался женский голос.

– Я.

Щелкнул замок, дверь распахнулась, и я увидел Мэри Миллер.

– Мэри, ты…

Она рассмеялась.

– Не ожидал? Конечно нет. Привратник дал мне свой ключ. Наплела ему, что я твоя сестра. В женском колледже новеньких будут заселять только с завтрашнего утра. Не хотелось тратить деньги на гостиницу, вот я и…

Кажется, была названа эта, а может, иная, столь же малоубедительная причина. Как человек, только что обретший гармонию с миром, я был полон снисходительного великодушия.

– И правильно сделала. Ты ужинала?

– Да, спасибо. Тут неподалеку живет моя крестная, она отвела меня в ресторан. Мы с ней выпили вина, и много. Послушай, Роберт, очень милая квартирка. Тебя тут поселили как лучшего абитуриента?

– Понятия не имею. Сказали, вот тебе ключ, шагай, студент. Чаю хочешь?

– Было бы замечательно. Скажи, где заварка и чашки, я сама все сделаю. А какой вид из окна! На реку! Вот бы и мне такой же.

И снова рассмеялась.

Наполненные чашки она притащила в спальню.

– Тут гораздо приятнее. Давай включим лампу. Вот так. И открой шире окно, чтобы было слышно реку.

Мы сидели рядышком, привалившись спиной к изголовью, и потягивали чай. После моря пива только чая мне и не хватало, но почему-то даже в голову не пришло отказаться.

– Это козодой, – сказал я.

– Кто-кто?

– Послушай. Сначала громкое верещание, а потом будто кто-то причмокивает губами.

– Ой, правда причмокивает. Роберт?

– Что?

– Ничего, если я останусь переночевать? Зубная щетка у меня с собой. В сумочке.

– Оставайся, конечно, я могу лечь на полу.

Какое-то время мы молчали, но это было не в тягость, наоборот.

– Роберт? – снова позвала она.

– Да?

– Ты знал, что я твоя соседка?

– Знал, конечно. Помню, как увидел тебя в первый раз. Я сидел у окна со стихами Катулла. А ты как раз вышла на газон, в теннисной майке и юбочке.

– Почему ты меня тогда не окликнул, не поздоровался?

– Мы ведь не были знакомы. И мне нравилось за тобой подглядывать.

– Знаю.

– Что?

– Я знала, что ты подглядываешь, – сказала Мэри. – Я хотела тебе об этом сказать. Несколько раз даже почти решилась. До того, как мы стали друзьями.

– Так ты знала?

– Ну да. А почему тебе нравилось за мной наблюдать?

Лукавить я не стал.

– Мне нравилось, что у тебя есть отец.

Она усмехнулась:

– Это все?

– Нравилось, как выглядит ваш дом. И как твои волосы упали на плечи, когда ты сняла с них ленту.

– Что еще?

– Как ты задрала юбку, чтобы почесать ногу, когда лежала на животе с опущенной головой.

Мэри поставила чашку, опустила голову.

– Опущенной вот так?

Тут я вспомнил, что она сегодня тоже пила, возможно, не меньше меня.

Я поднялся с кровати, осмелев до наглости.

– Да. Именно так. А теперь чеши ногу, – скомандовал я.

Она снова хохотнула и задрала подол.

– В траве у нас полно всяких противных букашек. А ноги были голые. Можно я сниму чулки?

– Нужно. Положи их на стул.

Избавившись от чулок, она опять забралась на кровать.

– Мне нравилось, ну… что ты на меня смотришь. Под твоим взглядом я чувствовала себя такой… мм… плохой девчонкой.

– Плохой?

– Плохой, но по-хорошему… когда приятно. – Она коротко хихикнула. – А тебе тогда хотелось… ко мне прикоснуться?

– Да. Мне хотелось почесать тебе ногу. Самому. Показать, как бы я это сделал?

– Покажи.

После убедительного показа она спросила:

– А как же Пола? Ты ведь был в нее влюблен?

Полу я едва помнил, в тот момент мне было не до нее.

– Никогда, – торжественно заявил я. – Пола, это так… мимолетное увлечение.

Я еще раз провел ладонью по ее бедрам, потом сунул пальцы под тоненькие, неплотно сидящие трусы. Уж это я заслужил точно, думал я, снова ложась на кровать. Меня распирала гордость, как молодого пашу, которому, наконец, предоставили личную свиту.

Мэри уселась на меня верхом, поймала мой взгляд. Глаза ее были широко распахнуты, пухлые губы все еще слегка раздвинуты улыбкой. И тут я почувствовал то, чего никогда раньше не испытывал: горячую благодарность.

Мэри расстегнула пуговки на блузке, сняла ее, положила сбоку.

– Наверное, так будет лучше. Да, Роберт?

Она наклонилась и нашла губами мои губы.

Лекции начинались в половине девятого, шли подряд, но это было совсем не утомительно. В полутемной прозекторской (барак с железной крышей) мы, ничего не упуская, препарировали трупы. У них были прозвища, Фред и Марта.

Я любил взрезать бежевый мозг, он напоминал отваренную цветную капусту. Было замечательно держать в руках это чудо с множеством бороздок и выступов. С запястий капал формалин, а ты всматривался в каждый завиток, памятуя, что когда-то в этом мозгу миллиарды синапсов передавали от клетки к клетке нервные импульсы. Что долгие годы сложнейшие комбинации заставляли вот этот кочан цветной капусты верить, что он Фред, а не овощ.

Рассмотрев мозг Фреда, я снова опускал его в ведерко.

Марта тоже была очень привлекательной особой. Даже на сцене анатомического театра она оставалась невозмутимой. Мне хотелось увидеть наяву, как разветвляются нервы. Поразительно, они выглядели точь-в-точь как на грандиозном эволюционном дереве жизни Дарвина. Они тянулись повсюду, эти провода, по которым передается животворная сила. Думаю, меня покорила именно эта их напористая активность, и я выбрал неврологию.

Я все-таки человек сельский. Соскучившись по деревенской жизни, я свел знакомство с парнями из другого колледжа – любителями конной охоты. Какой-нибудь час на автобусе, и я получал возможность пообщаться с лошадками. По воскресеньям в благодарность за то, что я помогал чистить стойла и подметать двор, мне позволяли пару часов покататься верхом. Я записался в хор, хотя голос у меня самый обыкновенный, и в дискуссионный клуб.

Кресло и торшер я очень скоро перетащил из гостиной в спальню и теперь мог сидеть с книгой перед окном с видом на реку. Занимался я до девяти, а потом читал что хотел. Начал с Конана Дойла, но что-то мешало наслаждаться детективной интригой – не иначе то был суровый дух кальвинизма, царивший в колледже. Оставив в покое Шерлока Холмса, я принялся за романы Джордж Элиот. Она подвела меня к немецкой философии – Гегелю и Фейербаху. Чем дальше, тем серьезнее: я перешел к трудам по психологии. Узнал про Эдуарда фон Гартмана и невролога Морица Бенедикта, открыл для себя Фрейда, основные фрагменты ранних трудов которого были напечатаны лет за двадцать, а то и за тридцать до публикации в окончательном виде. Надо было только знать, где их искать.

Мэри Миллер навещала меня часто, прибегала и убегала в часы, когда служители кирки не могли ее застукать. Пустовавший ящик в комоде наполнился нижними юбками, джемперами, поясами для чулок. Ночную рубашку мы прятали под матрас, чтобы не попалась на глаза уборщице, свежее нижнее белье Мэри приносила с собой, снятое забирала. Когда покупала пиво или фрукты, пустые бутылки и пакеты тоже уносила. Однажды на лестнице раздались подозрительно медленные шаги; надо было срочно спасаться – вдруг решил нагрянуть привратник. На лестничной площадке имелся люк, через который можно было выбраться на чердак, откуда через второй люк попасть на плоскую часть свинцовой крыши, на значительном расстоянии от края. Весной мы затащили на эту площадку несколько цветочных горшков. В солнечном углу я поставил раскрытый мешок с землей и посадил помидоры. Плоды до окончания семестра налиться не успели, но от листьев шел терпкий помидорный дух. Со временем мы так осмелели, что зазывали гостей на вечерние пикники на крыше. Мэри – девиц из своего колледжа, я – наших ребят. Норман Гроут приходил часто, садился на коврик скрестив ноги и начинал рассказывать скабрезные анекдоты или пересказывать сплетни, которым никто не верил.

Это был наш собственный мирок в монастырских стенах колледжа. Мэри ничего от меня не требовала, только чтобы я не был занудой.

Я уже говорил, что при первой встрече меня поразила завершенность линий ее полностью сформировавшейся фигуры, крепких точеных бедер и рук. Но груди были не как у зрелой женщины, они оказались совсем юными, с едва проступающими сосками, будто из нежнейшего светло-розового шелка. Когда я к ним припадал, Мэри обхватывала мою голову ладонями. Единственная дочь заводского инженера и медсестры, выросшая в глубокой провинции, не отличалась скромностью. Откуда только что бралось?

Любовные интрижки теперь всегда ассоциируются у меня с легкими летними платьями, бутылочным пивом, ненасытными слияниями и ужином на крыше, и все это под еле слышный лепет реки. Лучше, по-моему, и не бывает.

На втором курсе я познакомился с Дональдом Сидвеллом, он изучал теологию. Этот очкарик был натурой увлекающейся. Обожал скачки, барочную музыку, Францию, крикет и старые машины. Он так азартно обо всем этом рассказывал, что я слушал с открытым ртом. В ближайшей деревне у него имелся гараж с подержанной легковушкой.

Мы ездили туда по субботам на велосипедах, потом обедали в пабе. Порой дружок мой по полдня не вылезал из-под капота машины, пытаясь «немного ее взбодрить», как он это называл. В награду за мое терпение Дональд сопровождал меня в конюшню, где я убирался по воскресеньям, и учился ездить верхом. О его семье и домашних обстоятельствах я мало что знал. Нас связывал интерес к предметам более возвышенным. Мы пили пиво в моей каморке; я рассуждал о механизмах действия нервной системы. О том, почему нельзя считать, что «ум» существует вне вещества, из которого состоит мозг. В ответ Дональд выдвигал возражения с философскими обоснованиями. Он атаковал меня цитатами из Декарта, Юма и Локка. Но в конце концов я брал реванш, приводя пример из жизни, связанный, например, с недавним воскресным происшествием, когда лошадь под Дональдом вдруг понесла и от страха у него вспотели ладони. Убойный аргумент: мокрая ладонь показывает, как абсолютно абстрактная эмоция – страх – при содействии нервной системы и экзокринных желез превращается в воду. Стало быть, идея о том, что мы состоим из чего-то еще, кроме материи, абсурдна.

Подобные дискуссии часто вспыхивали после докладов старшекурсников, но нас на столь важные сборища пока не допускали. И ладно. Зато он мне одному рассказывал об особенностях французской культуры. По мнению Дональда, Франция представляла собой искусственное государство и если бы она распалась на несколько географических единиц, ее жители стали бы счастливее. Он располагал уникальными сведениями о том, что на французском в этой стране почти никто не говорит. Согласно последним данным, относящимся к 1900 году, только 28

процентов жителей Франции общались на французском языке, остальные использовали бретонский, окситанский или лангедокский, не считая еще сотен диалектов и говоров. Прав он был или нет, судить не берусь, но мне нравилась его въедливость, погруженность в материал.

Мы часто ходили на музыкальные вечера (туда, где разрешалось курить) в другие колледжи. Наши доморощенные концерты проходили в «малом зале», отделанном деревянными панелями. Дональд тоже иногда там выступал с шуточными песнями собственного сочинения, аккомпанируя себе на фортепиано. Я здорово привязался к этому парню, почти так же, как к Мэри Миллер. С ним в чем-то было даже проще. Никаких жертв и обязательств, чисто мужская дружба. Отношения с Мэри становились не такими уж безоблачными, неизбежно напрашивались удручающие вопросы насчет будущего, что нужно мне от нее, что ей от меня. В общем, Мэри ночевала у меня все реже. Я не очень-то этому и огорчался.

* * *

Увлекательное чтение было прервано стуком в дверь. Полетта.

– Доктор Перейра ждет вас, – сообщила она и, тут же развернувшись, ушла. Я посмотрел на часы. Было без двадцати восемь.

Хозяин ждал меня в библиотеке. Он был в рубашке с расстегнутым воротом и парусиновых туфлях. Я был слегка раздосадован. Костюм и любимый фиолетовый галстук оказались некстати.

Глава четвертая

– Сегодня на море я встретил молодую особу, – сказал я Перейре за ужином.

– Наверное, это Селин. Она часто приходит поплавать в *calanque.*

– Кто она такая?

– Внучка моей бывшей пациентки. Своеобычная девушка, верно?

– Верно. А чем она занимается?

– Ухаживает за бабушкой. В порту иногда перепадают случайные заработки. Помогает здесь, в доме, когда у меня собираются гости.

– Давно вы тут живете?

– Приехал в двадцатых. В те годы про остров еще почти никто не знал. Тогда и в Канны-то иностранцы только-только начали приезжать, я имею в виду, британцы. А здесь была прямо райская благодать: всего несколько беленых домиков в порту, населенных горсткой чудаков. Богемная публика, нудисты всякие, искатели приключений. Ведь климат тут мягкий, просто сказочный. Ну что еще тогда было? Теннисный корт, хороший рыбный ресторан и две-три семейные гостиницы. Все это выглядело как на фотографиях Лартига, та же атмосфера.

– Вы здесь работали?

– Да. У меня одно время был санаторий. В этом самом доме.

– Но теперь больше не работаете.

– Нет, стар уже. Мне девяносто три, и много лет болею лейкемией. Сами знаете, у стариков часто заводится рак. Я стал хуже себя чувствовать, вот и копошусь в архивах, уже несколько месяцев пытаюсь в них разобраться. Наверху штабеля папок, горы документов, Полетта помогает. Недавно рылся в своих старых дневниках, времен Первой мировой. Читать их некогда, но фотографии просмотрел. На одной – группа наших ребят, на обороте фамилии, мы тогда непременно каждого записывали. Читаю: «Хендрикс». Вроде бы знакомая фамилия… Но в тот момент ваши «Немногие избранные» в памяти не всплыли. Зато всплыли чуть позже. Тогда я сел и написал вам. Все сошлось. Стало ясно, что два Хендрикса – это отец и сын.

– Своих детей у вас нет?

– Увы. Несмотря на почти тридцать лет семейной жизни. Жена умерла десять лет назад. Из здравствующих родственников остался только племянник, сын сестры, он живет в Париже. Юрист, недавно вышел на пенсию. Милейший малый, я очень его люблю. Но интересы у нас разные. Человек далек и от медицины, и от литературы. Он мой главный душеприказчик, но хотелось бы, чтобы был кто-то еще, кто способен адекватно оценить мои записи. И публикации, разумеется. Когда я сообразил, что вы сын моего фронтового товарища, забрезжила надежда. А уж когда перечитал вашу книгу, понял, что мы с вами родственные души. Знаю, что моя идея несколько экстравагантна и я рискую показаться смешным, но в моем возрасте это уже не страшно. Ничего пока не говорите. Скажете, когда познакомимся лучше. Если «нет», значит, так тому и быть, не обижусь. Но не торопитесь, возможно, мы найдем общий язык.

По моей физиономии расползлась улыбка. Голая девица, отлавливающая морских ежей, несуразный старик с донкихотскими прожектами – такие встречи в жизни нечасты.

– Можно кое-что уточнить относительно вчерашней беседы о наслоениях в памяти? – задал я очередной вопрос.

– Да-да?

– Это ведь лекция была?

Перейра улыбнулся:

– Вас не проведешь, доктор Хендрикс. Наброски к лекции, которую я не так давно читал в университете. Первокурсникам.

– А вы помните, о чем еще им рассказывали?

– Раз вас заинтересовала эта тема, могу поискать свои записи.

– Был бы признателен. Тема действительно любопытная.

После ужина он отправился наверх искать записи, а я вышел в сад покурить. По суховатой упругой траве прошел к шеренге деревьев. Когда цикады на миг притихли, услышал доносящийся снизу плеск воды в *calanque*. Монотонный, провоцирующий… Я оросил опавшую сосновую хвою.

Однажды я снимал комнату в огромном особняке на севере Лондона. Когда хозяева были в отъезде, я с удовольствием разгуливал по всему дому, включал везде свет, громко топал, с грохотом передвигал стулья. Так я отпугивал грабителей. В углу террасы стояло несколько вазонов с вечнозелеными кустиками, и мне доставляло удовольствие каждую ночь отливать в эти низенькие горшки, но, как ни странно, терпкий запах зимней террасной флоры, преимущественно хвойной, нисколько от этого не страдал.

Или совсем давний эпизод, еще в бытность в родной деревне. Меня пригласили на бал охотников. Невероятное событие для мальчишки, которому дозволялось лишь убирать за лошадьми. После застолья хозяин отвел всех мужчин к гравийной дорожке, расстегнул ширинку и давай поливать эту самую дорожку, каждый камушек…

Я дал волю этим и еще кое-каким воспоминаниям, усиливая блаженство облегчения. Отблаженствовав, вернулся в дом. Полетта, отвлекшись от уборки стола, протянула мне желто-бежевую папку.

– Доктор Перейра велел вам это передать и еще что он пошел спать. Если захотите читать у себя, там теперь есть электрическая лампа, я поставила.

Поднявшись в свою комнату, я снял пиджак, галстук и ботинки, придвинул вплотную к кровати обретенный торшер, поставил бочком подушки и привалился к ним спиной. Текст был отпечатан на плотной бумаге.

«*… Итак, мы с вами установили, что личность человека формируется в огромной степени особенностями его памяти. Не тем, что человек помнит, а как именно он помнит.*

Если вы вспоминаете какое-либо событие раз в неделю на протяжении тридцати-сорока лет, вы вступаете с ним во взаимодействие. Чем чаще вы его вспоминаете, тем сильнее изменяете. Вы не просто фиксируете свое прошлое, вы всякий раз его интерпретируете. И, возможно, это и есть главный процесс при формировании личности. Я, конечно, упрощаю, но примерно так все и происходит.

Проведенные мной в 60-х годах исследования показали, что как пациенты, так и здоровые испытуемые используют для хранения разных воспоминаний разные отделы мозга. Если я спрашивал: «Что вы ели сегодня на ланч?», данные изымались из одного, скажем так, ящичка. Название столицы Испании находилось в другом. А если я просил проехаться на велосипеде или проделать что-то еще, что испытуемые делали только в детстве, им приходилось выуживать сведения уже из третьего ящика.

Теперь это все уже доказано. И в один прекрасный день, когда наши помощники изобретут более мощные и изощренные считывающие устройства, мы будем располагать наглядными иллюстрациями вышеназванных процессов.

Двигаемся дальше.

Приходя к священнику или психотерапевту, человек рассказывает о тех событиях своей жизни, которые считает важными или значимыми. Очень часто упоминается или подразумевается нечто воспринимаемое как «травма», или, если не травма, то некая точка отсчета, разграничивающая «до» и «после». Делясь своими воспоминаниями, человек обнаруживает (грубо говоря), что способен изменить собственное восприятие давних событий, которые предстают уже менее драматичными. В чем причина этой примиренности со своим про-

шлым? Я полагаю, ответ тут может быть один: произошли изменения на нейронном уровне в самой памяти».

Перейра старался рассказывать про механизмы памяти доступным языком, учитывая степень подготовленности аудитории. А мне не терпелось добраться до конечных выводов.

«…Мои надежды основываются на следующем. Сначала мы посмотрим, как мозг осуществляет запоминание, какие его отделы при этом задействованы. Сохраняется ли информация вечно, если ею не пользуются? Сохраняется ли она целиком, так что вопрос только в том, как до нее добраться?

Идем дальше. Почему одни события закрепляются в памяти, а другие якобы утрачиваются? И третье. Мы рассмотрим, как наши вторжения во владения памяти формируют ее на уровне нервных клеток. Это поможет нам научиться искать ту информацию, которую мы считали навсегда утерянной. Уяснив все это, мы постараемся понять, до какой степени все, а если не все, то очень многое, зависит от нашей способности сортировать, уточнять и нейтрализовать воспоминания. А поняв это, мы научимся извлекать из памяти только действительно нужную информацию, восстанавливая давние события на уровне нервных процессов.

Кое-какие изыскания на эту тему легли в основу книги «Альфонс Эстев: человек, который забыл себя». Книгу я определил для себя как научно-популярную, поэтому опубликовал ее в Англии, чтобы не смущать и не сердить коллег-академиков…»

Я отложил папку и подошел к окну. Стиль у академика тяжеловат, впрочем, возможно, это предварительные записи, черновики, не предназначенные для посторонних глаз.

Ночь была ясной, небо ближе к югу усыпано звездами. Я спустился почистить зубы, а вернувшись, затворил ставни и лег спать.

В деревенском доме моего детства запретов было немного, но один соблюдался неукоснительно: мама не разрешала рассказывать сны. Говорила, что другим совсем не интересно знать, что тебе приснилось. На самом деле она, вероятно, боясь выдать себя, не подпускала никого даже к сновидениям. Мама никогда не говорила о своих чувствах, тем более обо всем, что связано с телесными проявлениями, – это же так стыдно. И меня, оттого что у нее не было мужа, она, похоже, слегка стыдилась. Словно я был плод греха, результат семяизвержения какого-то пришлого сезонного работяги. Когда люди смотрели на нее, на меня и снова на нее, она испуганно вздрагивала. Маме не хватало отца, но, насколько я понимаю, еще больше ей не хватало респектабельного статуса замужней женщины.

Верный ее заветам, мир ее праху, я не стану рассказывать, что мне приснилось в ту ночь на острове. Упомяну только, что это был сон про любовь и войну, про смерть и покой…

Было в нем и кое-что особенное: во сне у меня появилась возможность изменить мир за десять лет до двойного убийства в Сараево. Мне приснился век, в котором было гораздо меньше безумия.

Поскольку хозяина я утром не встретил, то спустился к морю проветриться и привести в порядок мысли. Мне нравятся наши метафоры. Как можно привести в порядок мысли? Только с помощью новых мыслей. Мысли… Они удерживают одну информацию и отметают прочь другую.

И все-таки что же имеется в виду под наведением порядка в мыслях? Наверное, вот это: прекратить рассуждать и попытаться «почувствовать». Из чего следует очевидное: то, что мы «чувствуем», ценнее любого размышления… Чувства надежнее.

Усевшись на плоскую скалу, я смотрел на белопенные гребешки волн и вспоминал слова Ньютона о том, что самому себе он кажется ребенком, который ищет на берегу самые гладкие камушки и самые красивые ракушки, в то время как великий океан истины расстилается перед ним еще непознанный. Еще я вспомнил Мэтью Арнольда, который на берегу Дуврского пролива, в свою очередь, вспоминал Софокла на берегу Эгейского моря, и утверждал, что в шуме прибоя античный трагик различал приливы и отливы человеческих страданий.

Всплыл в памяти вполне реальный берег. Анцио, 1944 год. Как хрустнул песок под моим грубым армейским ботинком: мы, поднимая тучи брызг, спрыгивали с десантной баржи, зная, что в любой момент нами могут поживиться немецкие пули.

Океан тогда был для меня не загадочной и могущественной стихией, а ледяной водой, из которой мне предстояло выбраться на берег, зарыться как можно глубже в песок и начать убивать. Пока мы брели к берегу, винтовку приходилось держать над головой, чтобы не замочить, потому что вода была по грудь. Никакого благоговения перед величием и красой Тирренского моря я не испытывал.

Любая проблема кажется неразрешимой только тому, у кого она возникла. Со стороны она часто выглядит смехотворно ничтожной. Промелькнула мысль, что и сам я попал в ловушку. Как те мои несчастные пациенты, для которых прошло время легких решений. Невозможно двигаться по жизни дальше (неважно, сколько мне ее еще осталось). Невозможно, пока я не уясню, что было там, во мраке прошлого. И тут требовалась тяжкая «кропотливая работа», то, что я начинающим психиатром *настоятельно* рекомендовал своим пациентам. Но я куда охотнее прибегал к давно известным трюкам: делал вид, что все нормально, старательно отвлекался на сиюминутные удовольствия, ловко менял направление мысли. Вот и Ньютона зачем-то вспомнил, а потом по инерции и Мэтью Арнольд выскочил.

С трудом заставив себя встать, я двинулся в сторону дома. Когда поднимался по ступенькам лесенки, снизу донеслись гулкие всплески. Я остановился и, сойдя с лестницы, свернул к краю обрывистого холма. В *calanque* кто-то плавал, и я почти сразу узнал гладкую изящную головку. Спустился, но встал так, чтобы меня не было видно. В конце концов Селин вышла из воды, нагая, как и в прошлый раз, и вскарабкалась на скалу. Инструмента для ловли ежей при ней не было, но полотенце она захватила. Расстелила его рядом со сброшенным платьем и легла. На спину. Волосы распустила веером, чтобы быстрее высохли, руки прижала к телу. Внизу живота было родимое пятно. На этот раз она мне показалась более сухощавой. Заметно было, что Селин не совсем разнежилась, словно подозревала или знала: за ней подсматривают.

Через минуту я пошел назад, к ступенькам, и вскоре очутился в саду Перейры.

Ланч был накрыт на открытой террасе, затененной ветвями сливы. Полетта принесла *salade nigoise*[16]с листочками полевого салата и острым чесночным соусом.

– С большим удовольствием прочел ваши заметки, – доложил я. – Насколько я понял, ваша цель – добиться того, чего должен, по идее, добиваться хороший психоаналитик. Но при этом вы используете физиологические особенности самого мозга, он должен сам произвести изменения, взрастить их. Тот же психоанализ, только на биологическом уровне.

– Верно, – сказал Перейра, наливая мне в стакан газированной воды. – Но углубляться в научные дебри я не мог, лекция рассчитана на первокурсников. А вообще-то я двадцать лет отдал этой теме.

Я понимающе кивнул. Самого меня занимали совсем иные вещи, но я прекрасно понимал, насколько притягательна эта гипотеза.

– Когда вы учились, сеансы психоанализа практиковались? – спросил Перейра. – Лично с вами работали?

[16] Салат с тунцом и анчоусами *(фр.)*.

– Да, было дело. В ту пору в Англии Фрейд был наше все. Психоанализ использовался не только как метод лечения, во многих клиниках он служил главным ориентиром при определении диагноза. Даже в случае шизофрении.

– Кто проводил сеансы с вами?

– Докторша по имени Белсайз Парк. В Лондоне.

– Была в вас влюблена?

– А как же.

Он усмехнулся.

– Выпытывала, что вам снилось? Уточняла детали?

– Да уж. Это было не трудно. Снилось мне много чего. Приходилось иногда опускать подробности, дама все-таки. В частности, в эпизодах, где я оскопляю своего отца…

– Вы нарочно меня дразните, мистер Хендрикс.

Как правило, глубоким старикам свойственно снисходительное добродушие. Лукавые искорки в глазах, дрожащий от ласковой усмешки голос. Часто мне казалось, что это у них от успокоенности. Радуются, что уже вне игры, больше никаких бешеных гонок в угоду молодым амбициям. Перейра был не таков. Невзирая на угасание интеллектуальной силы, игровую площадку он покидать не собирался.

Полетта поставила на середину стола блюдо с нарезанными фруктами.

– А знаете, доктор, – продолжил Перейра, – мне бы хотелось, чтобы вы побыли еще. Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, вы оказались в сложной жизненной ситуации…

– А разве в жизни бывают иные?

– Я совсем старый. В могилу пора. И все-таки во мне пока жив молодой идеалист, тот начинающий врачеватель душ, каким я был когда-то. И я вижу, что вашу душу что-то тревожит. Скажете, я неправ?

– Я живой человек. Каждого из нас что-нибудь тревожит.

– Если вас что-то не устраивает, попробуем это исправить. Можете выбрать другую спальню. Можно пригласить на ужин Селин, хотите? Я попрошу Полетту приготовить что-нибудь по вашему вкусу.

В сосновых ветвях застрекотали древесные лягушки, громко, не уступая цикадам. Перейра подлил мне белого местного вина, а я мысленно перенесся в свою гостиную на Кенсал-Грин, с видеокассетами и скандалящими «соперницами».

И вдруг поймал себя на том, что улыбаюсь.

– Ладно, – сдался я. – Побуду до среды. Спасибо вам. Но мне бы позвонить. Надо проверить, не было ли сообщений.

– Разумеется. Телефон в холле. Звоните сколько и когда угодно.

Телефонный аппарат был старинный, с навесным диском, с резным дубовым корпусом и похожим на ракушку раструбом микрофона. Качество французских телекоммуникаций наверняка улучшилось с тех времен, когда звонить за море было невозможно, но удастся ли со столь дальней дистанции включить кассету автоответчика?

Приставив к микрофону диктофон, я увидел Полетту, застывшую в дверном проеме кухни. Я вскинул бровь, и старуха нехотя попятилась.

Удивительно, но все получилось; нудный голос надменно произнес: «Это автоответчик Роберта Хендрикса…»

Одно сообщение меня заинтриговало.

«Приветствую вас, доктор Хендрикс. Я Тим Шортер. Мы не знакомы, но мой брат женат на вашей давней знакомой. Вы позволите пригласить вас на ланч в мой лондонский клуб? Надеюсь, скоро приеду в Лондон, побуду там недельку-другую».

Тем же вечером незадолго до ужина Перейра принес в библиотеку еще одну желто-бежевую папку

– Здесь кое-какие бумаги и снимки, – сказал он. – Давайте начнем вот с этого фото.

Я уже привык к неторопливому укладу здешней жизни, к тому, что мой хозяин склонен притормаживать, отвлекаясь на посторонние предметы, и столь стремительное развитие событий застигло меня врасплох. Я почувствовал себя уязвимым: прямо сейчас придется заново выстраивать защитные барьеры…

Фотография была времен той войны, коричневая, на толстом картоне, с узенькими белыми полосками по краям в качестве рамки. Запечатлены двенадцать человек, на заднем плане круглая палатка. На лицевой стороне внизу надпись чернилами: «Под Армантьером. Март 1916». Я перевернул снимок, прочел список: «Хендрикс, Барнз, Бирд, Уайзмен, Макгауан, Фронт, Холленд, Хогг, Трелор, Престон, Кемпбелл, Роу».

До этого я видел всего два снимка отца, но сразу его узнал. Высокий лоб и широко расставленные глаза, такие же, как на домашних снимках. Здесь, в компании других бойцов, он приосанился, на лице замерла улыбка. Возможно, эту молодцеватость солдатам придавала военная форма. Присмотревшись, я обнаружил, что почти у всех улыбки неестественные, для фото. Одни позируют терпеливо, другие не понимают, зачем это нужно.

Наверное, целую минуту я смотрел в отцовские глаза. Было такое чувство, что наконец-то мне удалось подловить его, увидеть на миг живым. Какой молодой…

Я молча протянул снимок Перейре.

– Хорошие были ребята, – сказал он.

– Это вы их фотографировали?

– Нет, мой заместитель, Уэйте.

– Лица вообще-то веселые.

– Это понятно, фронтовое братство. Но они действительно были верными товарищами. При этом не забывайте, ребята входили не в «товарищеский батальон», ну, знаете, из тех, что комплектовались из соседей или сослуживцев. Наши – добровольцы, раньше знакомы не были, их свела война. Всего через несколько дней вот он, – Перейра ткнул пальцем в одного из парней, – ценой собственной жизни спас вот его. – Перейра снова ткнул пальцем в фото.

– И спасенный назавтра же обзавелся новым лучшим другом.

– Мы намеренно старались лучших друзей не заводить. Отца вашего я знал не очень хорошо, я уже это говорил. Он был как бы сам по себе, замкнутый. Думаю, у него возникали свои мысли по поводу войны, пока она тянулась.

Были у Перейры и другие снимки, тоже не совсем четкие. Среди запечатленных теоретически мог быть и мой отец. В группе роющих окопы, или верхом на серой лошади, или возле примуса, разогревающий консервы из пайка. Судя по деталям, окопы предназначались не для стрельбы, а скорее для отдыха. Поэтому в атмосфере ощущался даже легкий налет озорства.

– Я вел тогда очень подробные дневники, – сказал Перейра по пути в столовую. – Если угодно, можете почитать. Попрошу Полетту принести вам эти тетрадки. Может, там что-то еще про вашего папу, до чего я пока не добрался.

Все принесенные фотографии я с огромным удовольствием изучил, но мало что мог о них сказать. Перейра явно был обижен моей сдержанностью. И даже солдатское фото отца не вызвало бурного отклика, не принесло мне ни удовлетворенного облегчения, ни нового понимания. Вообще-то снимки подействовали на меня, но странным образом: забрезжили в памяти события из моего собственного военного прошлого. А ведь я считал их канувшими в небытие. Что-то невнятное проскальзывало во мраке, подобно обитателю недоступных глубин, которого никак не могут рассмотреть и изучить океанологи.

Под вопрошающим взглядом Перейры я чувствовал себя неловко, как будто обманул его ожидания. Я не считаю нужным засыпать хозяина дифирамбами, расхваливать каждое блюдо, каждый бокал вина, называть шедевром каждую картину на стене. Хотя именно так

принято делать. Однако существуют элементарные нормы вежливости. Старик позвал меня к себе, предоставил кров и стол…

Я собрался с духом и произнес:

– Очень для меня необычно… что он в солдатской форме. Сразу вспоминается собственная служба.

– Это я предвидел, – сказал Перейра. – Ведь у вас в книге есть кое-какие любопытные фрагменты из фронтового периода.

– Разве? Большинство читателей увидели в ней манифест новых веяний. Тогда в моду входила «антипсихиатрия»[17]. Люди восприняли мою книгу не как воспоминания, а как спор с устаревшими догмами.

– И были совершенно правы. Но ведь кое-что можно вычитать и между строк.

У меня засосало под ложечкой, заломило глаза и виски.

– Почему вы не рассказываете мне о том, что случилось? – сказал Перейра. – Это произошло во время войны?

– Я… просто я не…

– В вашей книге я не нашел ничего, из-за чего нужно каяться, но если вам так не кажется, наверное, стоило бы это обсудить. Глядишь, картина обретет верные очертания, все встанет на свои места. Поговорим откровенно. Со своей стороны обещаю ничего не утаивать, даже самые постыдные эпизоды своей жизни. Ведь главный душеприказчик должен знать о тебе все, верно? Надеюсь, за доверие вы отплатите мне тем же.

В саду было уже темно, ветерок лениво теребил траву, покачивал ветки пиний.

– Хорошо, – сдался я. – Я расскажу.

И рассказал. До этого мою историю слышала лишь Л. в сорок четвертом, еще шла война. Позже те события стали чем-то, что отгорожено запертой дверью. Никто из друзей и соратников, никто из коллег, в том числе важных для меня (как Джудит Уиллс и Саймон Нэш), никто из любовниц и подруг (та же Аннализа) не выказывали интереса к этой теме. А самому мне казалось, что когда-то пережитый опыт был по большей части все же благотворным (по крайней мере, начать хотелось бы с этого).

Во время рассказа Перейре я мог преувеличить значение каких-то мелочей, а что-то важное упустить. С той поры у меня было достаточно времени, чтобы еще раз все обдумать и правильно расставить акценты…

В июне я окончил университет, и в одной из лондонских клиник намечалась вакансия. Но в Европе дела были плохи, напряжение росло. Диплом означал, что мне предстоит сделаться офицером. Сержанты с удовольствием глумились над новообращенными кадетами, отчаянно пытавшимися держать равнение. Это происходило на учениях под Донкастером, где у нас была учебная база. Муштра была общей для всех, даже для людей постарше и уже что-то собой представлявших. Я всячески старался не выделяться и терпеливо выслушивал любую ругань в свой адрес. Однажды сержант еще и высмеял: «Эй ты, вояка хренов, отставить вихляться, как тряпочная кукла!» Кто-то в строю захихикал. Хотя мог бы проявить солидарность, не подыгрывать сержанту…

И вот настал долгожданный день, когда наши мучители по уставу должны были обратиться к нам как к офицерам: «Сэр…» Тон был вполне дружелюбный, знали изверги, что со

[17] Направление, представленное рядом теорий, сторонники которых не признают психических заболеваний и считают психиатрические диагнозы и лечение насилием над индивидом. Антипсихиатрические теории были весьма популярны в 1960-е гг.

дня на день прибудет очередная партия увальней, которых можно будет всласть погонять по плацу.

Нас должны были отослать во Францию, и предварительно полностью экипировали. В комплект входила замечательная шинель, противохимическая накидка, ранец. Плюс амуниция, которая крепилась к ремню: стальная каска, бинокль, компас, сумка для провизии и фляга для воды. Перебросили, значит, нас через Канал[18] и тут же препроводили в деревню под Лиллем для соединения с другим батальоном.

В казарме я познакомился с командиром второй роты, кадровым военным по имени Ричард Вариан. Он носил усы, по-армейски строгие, но все равно при виде его невольно вспоминались французские писатели «прекрасной эпохи», щеголеватые усачи. Кстати, книги у него с собой были не военные. Стихи и какие-то беллетризованные биографии, что стояли на небольшой полке. Я понятия не имел, как должен выглядеть командир роты. Глаза точно были не рядовые. Карие, почти черные, не мигающие (такое было ощущение). Вроде бы добрый и умный малый, по крайней мере на первый взгляд.

– Принимайте у Билла Шентона четвертый взвод, – сказал он. – Билл два года был заместителем комвзвода. Кстати, служил со мной еще в Индии.

Вариан пояснил, что в мирное время старших офицеров не хватало, держать при каждом взводе еще и младшего по чину было глупо. Поэтому взводами часто командовали младшие офицеры вроде Шентона, временно замещая начальство. Мне, штатскому неучу, было крайне неловко забирать взвод у настоящего вояки.

– Ну вот, первое офицерское испытание, – сказал Вариан, вставляя в мундштук сигарету. – Надеюсь, это станет началом боевого пути.

Сержанты устроили себе в небольшой подсобке подобие клуба, там я и нашел Шентона, за карточной игрой. Сказал, что нужно поговорить.

– Есть, сэр.

Мы вышли в узкий коридор, Шентон повернулся ко мне и встал навытяжку как по команде «смирно». Был он лет на десять меня старше и на четыре дюйма выше. Все лицо в морщинах из-за многолетней полевой жизни под жарким солнцем. Внешне он был похож на фермеров из моего детства, но при этом в нем ощущались сдержанность и неброское чувство собственного достоинства… Таких людей я еще не встречал.

– Вольно, – сказал я.

Я видел, как он украдкой изучает меня – увальня, необстрелянного мальчишку. Естественно, я покраснел, стал запинаться, старательно отводил глаза. Оправдывался, бормоча, что таков приказ и что я буду страшно рад, если он в случае надобности не откажет мне в совете.

Пролепетав все это, я ждал, что сейчас меня поднимут на смех, а то и врежут кулаком по физиономии.

– Понимаю, сэр, – на лице Шентона не отразилось ни удивления, ни гнева. Он чтил волю начальства.

– Спасибо, старшина. Можете продолжить игру.

Отсалютовав, он развернулся и ушел. Только тогда я сообразил, что Вариан, вероятно, уже уведомил его, или старшина сам догадался, что нашествие целого выводка молодых офицеров повлечет за собой понижение в должности. Пожалуй, моя неопытность была двум воякам даже симпатична: любо-дорого понаблюдать, как я трусливо буду пытаться изображать командира. Однако было очевидно и то, что для военачальников, особенно среднего звена, новоиспеченные офицеры были неплохим материалом для ковки кадров.

[18] Имеется в виду Ла-Манш.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.